

Григорий Рычнев

К 70-летию автора

ДОНСКИЕ ПОГУДКИ

Рассказы

Альгаир
Ростов-на-Дону
2023

ББК 26.891

Р 95

Григорий Рычнев,
Р 95 ДОНСКИЕ ПОГУДКИ. Рассказы. – Ростов-на-Дону:
«Альтаир», 2023, – 128 с.

Рассказы Григория Рычнева овеяны личным участием в зарождении фермерского движения на Дону. Противоречия в ходе перестройки на селе к многоукладной экономике неизбежны, но литературные герои стараются не потерять в себе стремление души к человеческому. Сельские жители самых разных профессий, увлечений, общественных объединений и социальных групп при видимом индивидуализме продолжают сохранять общинность, понятие совестливости, свободы личности вплоть до самопожертвования ради всеобщего русского мира, в котором есть место не только юмору, но и гражданскому подвигу.

ISBN 978-5-91951-780-1

© Г. Рычнев, 2023

© «Альтаир», 2023

МОТЯ

Мотя хлопнула за собой дверь, сопела в проёме меж косяков:

— Котя, я те повторяю: курей кормить нечем...

Муж Коля сидел в кресле перед телевизором. Глянул на сторону: старуха его всё та же — живот вперёд, руки в карманах фуфайки, глаза, нос и губы сошлись в одну точку, что выражало крайнюю степень недовольства. «Котя» — это был он, тожеть овальный, почти круглый, с лысым яичком головы.

— Я последний раз повторяю, Котя: курей кормить нечем, — и трясла правой рукой в кармане, позвякивая ключами от амбара.

А у Коли телевизор, передача «Вокруг смеха», тут уж к нему не подходит. Имеет он право на пенсии или не имеет?

— Мотя, руби, а то птичий грипп ходит.

— Да чё ж — «руби»... разводили—разводили, а теперь руби!

— А я говорю: руби, раз сыпнуть нечего!

— Сходил ба к соседям, небось с паёв получили отходы...

Голова отмахнулась, пухлая пампушка ладони старательно оглаживала лысину, будто на ней отросли волосы.

* * *

Ночью спалось—не спалось: утро придёт, а кур кормить нечем... Весь огород перекопали, ямка на ямке, а клевать—то нечего. Пойдёт Мотя в сарай за дровами — бегут шайкой следом, наперёд забегают, ступнуть не дают. Хлеб печёный днём крошила им, а ить хлеб со стола самой жалко. Бывало, в совхозе не работали, так выписывали недорого озадки, а теперь их сами фермеры возят по списку. А Мотю и Котю объезжают — идите, мол, туда, где работали. Ды правда: хлеб они не растили, коров не доили — лес сажали да за ним ухаживали. Через сто лет, может, кто-то и помянет их... когда порубка будет. Но уже сейчас о них

никто не вспоминал, одного директора лесхоза показывали в газетке в белой рубахе с галстуком.

Где-то в полночь сквозь сон Мотя слышала, как что-то страстью господней гудело перед их двором и с грохотом рухнуло. Не иначе, сосед привёз на своём «газоне» металлолом: железо теперь в цене, лёгкий заработок... А может, шофёр борт кузова уронил, что аж собаки загавкали по всему кутку. Да мало ли кого может всполошить ночная темь? «Спи, Мотя, ради бога,— успокаивала себя. — Завтра надо самой к фермерам идти, искать что-нибудь курочкам... может, придётся купить, может, поменять на картошку...». Засыпая, она всё причитала: «Ну, Котя... Завтра получишь ты у меня...»

* * *

Утром — ни свет ни заря — Мотя спешила к своим курочкам. Возле постели мужа приостановилась:

— Руби... Всё тебе руби... никакой жалости...

Выкатилась с ключами и кастрюлёнкой картофельных очисток на крыльцо. «Господи, да что это такое?». У самой обувной чистилки, возле порожек, — задний борт грузовой машины: с номером, два красных стояночных фонаря светятся на раме, а дощатые въездные ворота смяты в щепки и лежат под передними колёсами грузовика.

— Да что это такое?! Что за машина? — вызывало вопросы увиденное. А больше всего жалко было расписную калитку с жестяными петушками, в форме шахматной ладьи столбы-верреи, вывернутые из земли. — Котя, иди сюда скорей! Котя! — бросив кастрюльку, бежала Мотя в горницу и, не дожидаясь ответа, назад на крыльцо, ухватила попутно в уголке дубовый рубель для стирки чулков. Рубель этот, как булава, он служил вместо засова двери, а мог применяться и для самообороны...

«Так вот оно что гудело, вон оно что рухнуло... — летели грачиками догадки старухи. — Вломился какой-то, зараза... Погляди, что наделал?.. И кто такой?».

Вот уж и рассвело, всё видать, всё слышать кругом: где-то мыкнула корова, гавкнула собака, лотошились утки и чей-то кочет тянул заутреннюю, а машина угрюмо молчала. От неё шло какое-то тепло с запахом моторного масла; прислушалась: под кузовом изредка что-то потрескивало от тяжести, а дверца кабины со стороны водителя приоткрыта, ноги чьи-то торчат в чириках с сиденья.

Кто в таком случае не возмутится? Мотя – рубель на плечо, дверцу настезь откинула:

— Ты гля, поганец, куда заехал! Ну-ка, вставай, я те щас причашу! Да будь ты проклят! Ну-ка, ты кто?! Ты гля, заехал! Это чёрт-те что творится... Да вставай же ты!

Старуха теребила ноги, тыкала в кабину ребристым своим орудием. В ответ одна нога поджалась, вторая потянулась, вытягивая носок, и Мотя схватилась за ту ступню, что была ближе, сдёрнула с неё чирик и шлёпнула им оземь:

— Да вставай же ты! Ух... будь ты неладен! Щас в милицию позвоню... Погляди, во что ворота превратил. И-и... поганец... А-я-яй, яяй... подлец! Заехал, как к себе во двор, лыжи свои вытянул и спит... Бессовестный! Котя, звони в милицию. Звони скорей в ГАИ!

При слове «ГАИ» спящий в кабине человек вскочил:

— Мать, не шуми! Не звони, ради бога! Я всё сделаю, всё поправлю — ворота, столбы...

Мотя угадала Лёшку, он был известный по поличию, с «энтова» края хутора, но продолжала наступать:

— Ты чего сюда ехал? Шелапут! Всё повалял, размял... Тебе тут чё, колхоз? Ты чё думал?

— Прости, мать, нечаяно получилось... Я разворачивался... проулок узкий... — тянул парень голову в плечи, как черепаха.

— Проулок ему узкий... Надо же было тормозить, когда задом сдавал...

Лёшка дрыгнул ногой, показывая, как он давил на педаль:

— Тормозил! Рас (!) – а тормозов нету. Я же соседу вашему зерно за пай привёз... под самый верх загруженный.

— Ну?

— Что «ну»? Покатилась машина назад. Я на тормоз — провалилась педаль... Да это хорошо, что ворота задержали, а то бы я вам тут всю хату развалил...

— Ну?

— Вот и «ну»... Хорошо, что машина через весь двор не покатилась, а то бы и курятник смял. Была бы вам нынчик лапша... А раз такое дело случилось, думаю, не буду бросать я свой «газон», возьму вот и вздремну до утра, не стану стариков булгачить, кабы чё хуже не натворил в потьмах...

А Мотя уже замахнулась рубелём:

— На-на...

Лёшка, скопчинный нос, кинулся приобнимать Мотю, чмокнул её в щёчку, а сам осиновым лепестком дрожал:

— Мать, прости... Так получилось... Нечайно... Хошь, зерна возьми, скоко надо! А забор я поправлю. Ей-богу!

Старуха не спускала уголины своих глаз с шофёра, приняла рубель в исходное положение (на плечо), подняла с земли чирик, подала его Лёшке.

— Взаправду зерно?... — спросила Мотя так тихо, будто мог кто-то подслушать их разговор.

— Ды глянь в кузов, я чё, брешу, што ли? Бери, скоко надо, а я за деталями домой сбегая... тормозов-то нету...

— Ды милый ты мой... — Старуха прижала ладони к груди, как перед батюшкой в церкви, испрашивая благословения. — Ды откуда тебя Бог послал?... У нас же курЯм сыпнуть нечего... Прямо хоть реви. А ты вот. Чёрт с ними, с этими воротами, сами сделаем. Ды дай Бог тебе здоровья! Возьмём, а то чё ж, возьмём-возьмём, зерно надо... курочкам клонуть нечего... Да милый ты мой, хороший... Ну, хошь, простоквашка у mine там стоять, взвар грушевый, квасок. Скажи: «чё»? Ды дай тебе, Го-

споди, жану хорошую... Котя, эй, Котя, скорей неси сюда лестницу, мешки... Там идей-то цыбарка*, она поспорее ведра...

* * *

... Лёшка пришёл с деталями через часок и видит: что-то машина аж приподнялась на рессорах. Глянул он с подножки через борт, и в свистюльку вытянул губы: в кузове было пусто... одно крылышко гусиное валялось... А Мотя шла по дорожке с полным ведром зерна и щедро разбрасывала из него пригоршнями:

—Тиип-тип... тии- п..тип...

— Мамаша, я думал, вы ведер пять-десять возьмёте, по совести... а вы?

— Так ты ж, мой хороший, сказал: берите скоко надо... — сыпала щедро, наотмаш, а курочки что-то в открытую дверь птичника не выбегали. А зерно - шик, шик во все стороны...

Лёшка постоял, шарики за ролики в голове: как теперь отчитываться перед хозяином? Что придумать в оправдание? Постоял, почесал в затылке:

— Ладно, мать, выкручусь как-нибудь...

— Выкрутись, мой хороший, выкрутись. Мы чё, хуже соседа Митрия? Твоя бабка, мать мне рассказывала, в комсоде была, когда раскулачивали, что она только не творила при власти... Усы, бороды у казаков щипцами дергала: хлеба давай! И у наших дедов последнее выгребла, а ты вот нам вернул. Да спасти тебе Христос! Сочлись...А нам ещё двери делать... Натворил делов — выкручивайся, — и оглянулась Мотя к птичнику: что-то курочек не видно, петушок не кукарекает. «Да что это такое?!» Всегда было: не успеет утром дверь открыть — летят верером, ко-ко-ко да кококо, кочет, хоть и старый, по кругу приплясывал, чертил упругим крылом землю вокруг своей скромной

* Цебарка* – щаци самодельное, из жести, более вместимое, чем обычное ведро.

избранницы; остановится, гриву свою нахохлит, головку с красным вареником гребня тянет вверх, знай своё: «Кукареку!». Но теперь странная тишина. Баба Мотя — головой в дверной разлёт: с полсотни курочек замертво лежали на полу. Лапнула одну, вторую... петушка на руки, а у него тоже гребешок посинел, на сторону упал с открытым клювом.

Мотя так и присела на чурку. Были курочки — и нет. Вчера с утра приходили ветеринары: «Плати, бабка, за прививки».

Полечили...

* * *

С тех пор, если в хуторе что-то пропадало, непременно вспоминали про Мотю и Котю. Говорили, что они способны за ночь разобрать кирпичные стены любой заброшенной фермы и перевезти всё на тачке к себе на баз. Если что, Мотя во двор никого теперь не пускает, зовёт своего Котю и стоит перед воротами, как часовой: живот вперёд, на плече рубель ...

О, баба!

НЕПУТЁВЫЕ

Виктор Иванович лежал за садовым домиком в густом клевере и, приоткрыв рот, прислушивался: где-то рядом цэкала птичка, порхая в ветках дерева. Маленькая такая птичка, видел он, с белым хвостиком, величиной чуть поменьше воробья. Цэкнет птаха, дёрнет хвостиком — и уж на другом суку. С сучка — на ветку, с ветки — порх! — на кусту шиповника. Попробуй её поймай, разгляди сразу, что за птица. Может, рядом гнёздышко... Вот и потревожил человек. Разлэгся, глазами, будто лесная куница или плутовка лиса, так и сверлит, так и целится в неё.

А садовнику такая птаха и даром не нужна. Ему какой толк от неё? Думалось одно: «Вон оно как, что жизнь делает... Ей

только и живётся вольно... Куда захотела — туда и полетела. Не надо платить за свет, газ, и личный номер ей никакой не требуется...».

На окраине сада хрястнула ветка. Виктор Иванович подскочил. (Птичка для него перестала существовать). Наверняка кто-то снова пробрался к нему в сад и воровал вишню, и он вперевежку от дерева к дереву устремился за своей «добычей», как кот за мышкой, которая прошуршала в соломенной куче. И так изо дня в день. Работать не дают. Вот теперь какая-то женщина водит его за нос. Поймать бы да пристыдить. Да куда там... Мелькнёт платочек, звякнет ведро, песню в наглуую запоёт — и как сквозь землю провалится. Право: не баба, а ведьма.

При лужке, лужке, лужке,
При широком поле,
При знакомом табуне
Конь гулял по воле... —

снова доносило скок женского голоса, будто она сама была на лошади верхом.

Виктор Иванович то затаится, то побежит: «Всё равно поймаю...» Прямо какой-то азарт, игрища в нём разгорались из-за одного лишь любопытства. Пронесётся по саду, как дикий вепрь, с сопением, хрустом веток, и ни с чем, царапая ногтем лысину. Ведьму рази поймаешь? Только что орала во весь рот в правой стороне, а пока Виктор Иванович дошёл туда, — воровка загремела ведром в противоположной стороне. Плюнул и пошёл обратно: надо самому собирать вишню. Завтра базар.

Ветер донёс знакомые голоса:

— Вдарил шпорами под бока — конь летит стрелою...

«Ага, полетели, прямо не остановишь...» — подумалось садовнику.

Пчёлы жужжали в доннике, птичка неотступно следовала за ним. Снял с головы кепку, помахивал ею перед лицом, как веером, считал затраты и ожидаемую прибыль... Пять ведер

вишни у него в садовом домике... Если «пойдёт» по шестьдесят, — триста выручки. Десять литров бензина — минус шестьдесят пять рублей... Масло моторное — ещё сорок. Себе что? Хлеб, соль, сахар на исходе...

Лезвия для бритвы... А то если он фермер, думают люди, то обязательно должен быть с бородой...

А зимой вишни нет. Зимой он торгует с Аксайского рынка бананами, лимонами и всякими другими заморскими фруктами и овощами. Не будь этого — давно бы свернул своё дело.

Была ещё заветная мечта у крестьянина: трактор. А как его купить, за что? Не женщины снились ему, а трактор: будто едет он по степи, внук раскулаченных предков, на новеньком «Беларусе» (подарок рабочих!) в голубой дымке тумана, следом — чёрная полоса из-под плуга, и голос откуда-то с высоты: «Свершилось... В колодце водица, дай водицы напиться... и не будет скончания веку...»

Проснулся утром, налил под яблоней в миску воды — и села пчёлка на краешек, припала хоботком к влажному рубчику, зашевелила брюшком. Какая-то пташка порхнула с ветки, ткнулась носиком в миску и подняла головку клювиком вверх: «Цэк-цэк...» Серенькой она была только по цвету оперенья, а по температуренту, быстроте полёта, подвижности головки с остреньким клювиком и бусинками всё видящих вокруг неё глаз она была шедевром природы.

Нет, не напрасно Виктор Иванович выращивает сад: с каждым годом у него всё больше и больше друзей: тут еж по вечерам фыркает в траве, перепёлки прижились на полянке, спасаясь от безжалостных охотников. Чуть что — ф-р-р... прилетели. Даже лиса как-то подходила к садовому домику, к самому порогу, высунула язык и от любопытства помахивала хвостом. Кинул ей Виктор Иванович корку хлеба — была такова!

По наблюдениям Виктора Ивановича, вор теперь стал прикидываться ничего не знающим прохожим. Он чаще всего свой

человек, родной. Он обязательно скажет, что там-то никто не сторожит, что взятое им валялось на дороге, или вообще на мусорке. А если ему не верили и отправляли в полицию, то он непременно оскорблял хозяина, или потерпевшего, всякими словами типа «позахапали», «мало вас кулачили», «пропала Россия». Такие люди не умеют обращаться по имени-отчеству, от них обычно пахнет дешёвым вином или самогонкой. Они гордятся тем, что у них есть справка из дурдома, и что они могут сделать всё — им ничего не будет. А когда буйным надевали «браслет», то к таким, как Виктор Иванович, приходила необоримая жаль... Но и работать на «дядю» добросовестный человек из чувства собственного достоинства не может. И многие по этой причине бросали землю, огороды, дачи со взломанными замками, раскуроченными плитами, очагами, будто вновь явился на Русь Мамай.

Приходило разочарование и к Виктору Ивановичу. Не раз думал бросить всё, уехать в город, назад в лабораторию, где он, возможно, больше принесёт пользы, как человек с образованием и опытом.

Между ветвей что-то мелькнуло. Виктор Иванович остановился: в вишневой гущине к нему спиной стояла женщина. Да, женщина, в сереньком платочке, в брюках из пятнистой зелёной ткани. Сквозь редкую листву было видно, как она, приподнимаясь на носках, пригибала к себе ветки с гроздьями вишен, проворно схватывала их рукой и швыряла в ведро. В тот момент, когда воровка тянулась за веткой, иногда подпрыгивая, короткая блузка-безрукавка на ней тоже подсакивала вверх, оголяя переувлаченную в поясе шоколадного цвета кожу.

Она почувствовала на себе чужой взгляд и отпустила ветку. Ветка хлестнула по кроне дерева, разбрасывая ягоды и листья.

Стояла. Не шевелилась. Сейчас ей можно было спастись бегством, но ей это уже надоело. Ей даже стало любопытно: кто это и что ему надо?

— Ну, моя хороша, попалась?.. — услышала знакомый злорадно-насмешливый голос мужчины. Да, это он каждый день не давал спокойно гулять по саду, это с ним она игралась в «кошки-мышки».

Резко глянула через плечо: «А-а... вон ты какой...» Теперь его можно было рассматривать вплотную: по возрасту, пожалуй, ровесник, волосатая грудь нараспашку, небритое скуластое лицо с глубокой переносицей и голубыми фонариками глаз — блестящими и леденистыми. И близоруко щурился, как насмехался:

— Выходи и рассказывай, как ты до этого докатилась? — О достал сигарету и закурил, держал в пальцах горящую спичку, пока не потухла.

— Вылазь, говорю!

Он ждал — она не торопилась и молчала. Наконец ветки раздвинулись и перед садовником появилась женщина лет тридцати. Для неё как будто ничего не произошло: по-хозяйски спокойно перед собой ведро с вишнями и принялась обеими руками поправлять на голове зелёную косынку, разлинеенную в клеточку. Сунула себе в рот какой-то блестящий зажим для волос, узелок головного убора распустила и вновь завязывала его на затылке. Занятыми губами спрашивала не очень понятно:

— А ты... кто ... такой?

— Я-то? — усмехнулся. — Хозяин. А ты откуда взялась? Кто тебе разрешил?!

Криво хмыкнула и шагнула вплотную к Виктору Ивановичу, толкнула его волосатый живот своим мячиком: — Чё пузо-то распустил? Давай сигарету што ли...

Ему пришлось отступить на полшага:

— Тебе ещё и сигарету?..

Он медлил, всматриваясь в женское лицо: в нём не было ни стыда, ни чувства вины. Глаза скорее всего выражали удивление, а в самой глубине чёрных смородин стыла дерзость и неустрашимость.

Виктор выбил из пачки сигарету и смотрел, как она тщательно разминала её, катая в пальцах с накрашенными ноготками.

— И спички?

Молча выхватила из рук коробку, дрожащий язычок пламени поднесла к кончику свисающей с губы сигареты и, не затушив спичку, бросила её в траву.

— А губы не надо? — засмеялся садовник и наступил сандалией на вспыхнувший прошлогодний лист.

Она пустила струйку дыма, прижмурила чёрный глаз и, запустив руку под рубашку, почёсывала живот:

— Так я не поняла, чего тебе надо?..

Садовник поднял брови и закатил глаза куда-то «на луну»:

— Это я у тебя должен спросить: что ты делаешь в саду?

Она рассмеялась пародийно, одним лишь голосом и ответила почти не шевеля губами:

— Фа-фа... Гуляю... А что? Нельзя?

Ему стало жарко. Снял с головы кепку:

— В своём саду гуляй, моя хорошая...

Строгий бантик вишнёвых губ таял, чёрный глаз прицельно жмурился: никто и никогда ей не говорил «моя хорошая».

— А иде хочу, там и гуляю... — мигнула глазом. — Было б только с кем...

— Это ты своему мужу расскажешь. А мне в саду воры не нужны!

— Правильно. Гнать всех в шею! — притопнула женщина ножкой, туго обтянутой брючной тканью, нахохлилась грудью:

— А я бабёночка мо-ло-да-а-я... — проговорила с улыбочкой, закончив фразу нараспев.

Эта баба ломала все его планы. Он хотел строго прикрикнуть на неё, но того голоса, как вначале, не было. Он беспомощно скрестил на груди руки:

— Подожди... Кто твой муж?

— А муж был, да сплыл ... — кивнула на сторону.

— Работаешь где?

По её лицу запрыгал солнечный зайчик (может, и не зайчик, а тень вишнёвой ветки); на ресницу села паутинка и заискрилась. Она ноготком сняла её и дунула.

— Вольному ветру всегда есть дело.

— Тогда давай договоримся так: приходишь, рвёшь вишню, а я тебе плачу зарплату. Согласна?

— В работники што ли? — уточнила возмущённо и кисло сморщила пуговку носа.

— Ну, как это... в работники... Как на производстве платить буду. Плюс тебе медицинский полис, пенсионные...

— Не-е... Ещё чего не хватало... А ведро вишни я у тебя и так нарву, — округлялись глаза воровки, заставляя Виктора Ивановича возвращаться к своим лютым мыслям, и он тут же нахмурился и, как показалось женщине, небритая его борода ещё больше зарыжелась и ошетибилась.

— В таком случае, моя хороша, — заложил руки за спину и выструнился садовник, — я, фермер и хозяин этава сада, Виктор Иванович Дробополев, приказываю тебе оплатить мне за причинённый ущерб, а именно: вишня сворованная в количестве одного ведра. — И он посмотрел на это самое эмалированное в крапинку ведро и добавил: — С верхом... по оптовой цене: двадцать рублей... Это дешёво, учти.

Она сначала надеялась на помилование, пыталась заигрывать и вешать лапшу на уши, но эта рожица, наверно, была слишком стара, чем она думала, чтобы оценить по достоинству её внимание, и она уже была готова ненавидеть, проклинать его тысячами молний и всеми громами земли.

— Мне платить нечем! — и отвернулась.

— Тогда так: вишню я у тебя изымаю.

Он взял её ведро и пошёл по междурядью к садовому домику. Шёл не оглядываясь, но слышал, чувствовал, как эта нахалка следовала за ним.

— Не хочешь платить, не хочешь работать... Чё ты пришла сюда? — Остановился садовник, оглядываясь на воровку.

— Слышь, шеф, ты мне цибарку верни, иё типерчик не купишь...

— Пла-ти... — шипел нарочито сквозь зубы и смотрел на неё свысока, ожидая ответа.

Она держалась от него на безопасном расстоянии. (Он в шутку уже несколько раз намеревался замахнуться на неё рукой).

— Ух, как дам щас...

— Цибарку верни, говорю.

— Ух! — снова замахнулся сломанной былинкой пырея с колоском.

Она сняла с руки часы и забежала вперёд. Он остановился: воровка своим жестом выручала не только себя, но и его. Иначе чем бы закончился весь этот дурацкий конфликт?

Виктор Иванович посмотрел на неё. Показуха, игра это или в самом деле она решила расплатиться этой вещицей? Часы тоже чего-то стоят, если их продать... Но кому они нужны теперь с чужой руки? И все-таки хоть что-то с неё надо было взять.

— Давай, — протянул он руку ладонью вверх.

Женщина держала часы на кожаном ремешке двумя пальцами, будто перед собачкой, которую просили послужить на задних лапках.

Стояли какое-то время друг перед другом молча; ни она, ни он не решался сделать свой первый шаг, словно разделяло их не два-три метра одной стёжки, а пропасть.

— На! — усмехнулась презренно и тоже демонстративно вздохнула, покачиваясь на расслабленной ноге; на раздумянном лице её бескровно топорщились створки носа.

— Я жду! — тряхнул ладонью Виктор Иванович.

Стояла, не шевелилась. Он вырвал из её запачканных фиолетовых пальчиков блестящие часики и вдавил в своё ухо, но вместо тиканья услышал биение собственного сердца. В глазах

поплыло, и от прилива крови покалывало в губы и щёки. Подумал: «Перегрелся на солнце». Старался понять, что с ним происходило. Нет, скорее всего это было переутомление. Поставил ведро и пощупал пульс.

— О-о... тахикардия...

Снял с головы кепку, помахивал козырьком перед собой. Поискал глазами место под деревом, присел. Не хватало воздуха, и всё становилось «до лампочки». Казалось, всё перестало существовать. Не было ни сада, ни птичек... Перед ним лишь эта женщина, но и она смотрела на него с удивлением: эдакий верзила, хоть мешки вози на нём, — и вдруг обмяк, сник, как лопушок на солнце.

Виктор кивнул на ведро, протянул женщине ладонь с часами.

— Ничего мне не надо... И уходи.

— Вам плохо? — подседа ближе. — Вода хоть есть?

Он смотрел куда-то в небо с безразличием.

— В домике...

Враз сбегала за кружкой, брызнула в лицо.

— И-и... садовник мне нашёлся... На, глотни.

Выплеснула остаток воды на ладонь и чмокнула Виктору Ивановичу на лысину:

— Это туды иё в душу... Вот сучка, вот привязалась... И чего бы человеку нервы мотать?.. Чего лезть? Тьфу, зараза... Прости мою душу грешную... Вот стерва... вот сучка... довела!

Женщина ругала себя, и потому Виктору Ивановичу становилось легче, слабела в душе какая-то натянутая струна, и успокаивалось сердце.

Было уже такое. Было. В поликлинике врач сказал: «Пройдёт до женитьбы!». Да где же её, бабу хорошую, найдёшь? Ну, не встретил он ещё ни одну, которую смог бы полюбить.

— И чё ж ты, один тут што ли?

— Один... — поднял обе руки. — Да кому я нужен... такой вот...

— Ху-у... «такой вот»... Нормальный мужик... А это бывает. Жарко... А так... Руки у тебя есть, ноги — есть... голова тоже... модная... учёная...

Виктор Иванович был доволен похвалой, провёл пальцами по своей «профессорской» лысине:

— Знаешь, а иногда я во сне расчёску покупаю, — оживилась улыбчивой искоркой глаза садовника.

Она встала с колен, поправила сорочку, повязку на голове.

— Ну что, отдышался? Жарко... Пойду, наверно...

Он молчал, глядел на неё: только что гнал из сада, а теперь надо благодарить.

— Ну, я пошла.

— Подожди. Давай хоть познакомимся...

— Ага, спасибо за предложение... — смотрела искоса, пристёгивая к руке часы.

— Вы... У вас доброе сердце... Вы хорошая женщина... — Он потирал щёку, тербил ухо. Она заметила, конечно, его волнение и смущение, но лицо её оставалось невозмутимо спокойным.

Протянул ей руку, но она свою не подала.

— Я вам благодарен.

— А теперь ты скажешь: «Выходи за меня замуж»?

— Почему бы и нет?

— Я – вольная птица.

— Так полетим вместе... — предлагал с шуткой, но почти всерьёз.

Она не подала руки, пошла по саду, не оглядываясь. Виктор вскочил как ни в чём ни бывало, пошёл с ведром вишен следом.

— Я тебя провожу...

Шла молча впереди него. Очень хотелось ей, чтобы он не молчал, чтобы слышать его голос, и она задавала вопрос за вопросом:

— Так вы не женаты?

— Нет.

— И вам хорошо одному?

— Нет, конечно, но я привык.

— Завтра тоже прогоните из сада?

— Ну, что вы... Вы одарили меня таким вниманием... — и он хотел остановить её, положив руку на её плечо, а она испуганно обернулась:

— Пожалуйста, только без этого... не трогайте меня, — морщилась и показывала всей походкой свою независимость и неприкосновенность.

Виктор гладил ладонью свою бронзовую плешь:

— А теперь отвечай мне: поедешь завтра со мной на базар?

— Возьмёшь, а почему бы нет?.. — глянула наискосок с загадочной улыбкой — у неё в райцентре тоже дела есть. — Вы интересный... инте-рес-ный...

Виктор Иванович поставил ведро с вишнями на землю, выпрямился и расправил плечи:

— Тебя дома никто не ждёт. Так?

— Да-а...

— Тогда куда и зачем мы идём? Вместе заготовим ягоду, завтра на моей машине поедем на базар, продадим товар... Два человека — это уже коллектив!

Они вопросительно смотрели друг на друга. Он думал уже о ней как о порядочной женщине, что именно такая смогла бы составить ему «вторую половину». Если она не побоялась зайти в чужой сад, то в своём она станет настоящей хозяйкой. Надо же когда-то решиться и создать семью? Разговор, казалось ему, шёл к этому. И улыбка, и строгие глаза были ему по душе, и это придавало ему смелость и уверенность, а самое главное — крепило в нём надежду, что эта недотрога всё-таки подаст ему руку. Что ему молодые, неопытные в новой жизни, а ему нужна была хозяйка. Нет, надо было как-то решаться, создавать семью.

А ей вдруг стало грустно и скучно. Грустно потому, что судьба не давала ей лучшего выбора. Она бы хотела летать вы-

соко. И непременно орлицей, а не садовой сойкой. Но как оставить свой прежний полёт, как поменять свой образ жизни, чтобы стать счастливой и богатой? А пока её жизнь граничила с инстинктом самовыживания, а собственное дело с государственной регистрацией и обещаемым благом чем-то несбыточным. И вот сейчас она должна была решить: или отказаться от своего прошлого, или остаться распревольной птахой, пусть даже обречённой на одиночество.

С противоположной стороны вишенника донесло стук металлической посуды. Ветерок порхнул и донёс женский голос. Высокий и протяжный, он был знаком Виктору Ивановичу:

— Миллион, миллион алых роз... Из окна, из окна видишь ты...

Садовник поёжился и сморщился, как будто принял корвалол.

— Ну, что за непутёвые, воруют и при этом песни поют, дразнят что ли? — задал вопрос неизвестно кому, и приставил ладонь к губам: — Эге-ге... — И прислушивался вновь, говорил доверительно, как самому близкому другу: — Ох, и народ... Если так, то за что же я этот сад облагораживать буду? За что и для чего, скажи на милость? Подожди, я сейчас вернусь. Присядь и отдохни. Слышишь, такие же, как ты... — И крикнул так громко, что женщина заткнула свои уши пальчиками и зажмурилась: — Эге-ге-э... Ух!

...По небу с важной неторопливостью всевышнего судьи покатился, отзываясь то тут, то там, летний гром. Он деловито объезжал просторы донских белогорий, ворочался неуклюже в наплывающей синеве туч, бурчал недовольно, посылая в землю вилюшки молний.

Шлёпнули по листве капли-горошины. Садовник увидел вдали женщину; балансируя свободной рукой, кривляясь под тяжестью ноши, она была уже далеко от сторожки. За ней, с коромыслами на плече, через гречишное поле, спотыкаясь и едва не

падая в траву, несла два цибара с вишнями вторая женщина, в шляпочке. Она торопилась, скорым шагом спешила прочь, оглядываясь на дождевую тучу.

Садовник провожал их с молчаливой грустью. Пока он совершал свой обход, его знакомая чернобровка в косынке была уже за гранью, где лежал изрытый тракторными колёсами степовой большак, по которому выводили в поле от кооперативных мастерских технику.

Под изломистым стволом старого вяза, что стоял на скрайке дороги, женщины встретились и обнялись. В одной из них Виктор признал «свою хорошую».

...За редкими каплями хлынул проливной дождь. Садовник бегом вскочил в свой домик и припал к оконному стеклу: с неба лило, как из ведра. Ветер с порывами, не видать уже ни лесополосы, ни одинокого вяза. Всё течёт, шелестит... С сухим треском ломающегося дерева где-то рядом стегнула ослепительной вспышкой гроза, и от её удара жалобно тренькнули стёкла.

Невольно представил себя в открытом поле рядом с вязом. Злорадствовать и не обращать внимания на попавших в беду? Но ведь люди же... женщины... И побеждало в его душе сочувствие, которое ничем нельзя уж было погасить: ни сандалией, ни дождём, ни отвлечёнными мыслями.

Надел на себя плащ, нашёл пару старых, но сухих курток, полиэтиленовую накидку и зонтик и, вопреки всякому закоренелому собственнику и домоседу-чайнику, пустился бегом к лесополосе, где мокли под дождём женщины; старый вяз их уже не спасал и не укрывал своей кроной. А дождь лил, как из ведра, и от него невозможно было ни спрятаться, ни укрыться. Под ветром в воздухе всё кипело, бушевало, пенилось под ослепительными вспышками молнии и содрогающими землю грозовыми всполохами.

Виктор почти наугад прибежал к вязу. Женщины пытались укрыться от ветра и дождя за стволом дерева, но оно их не укры-

вало и не спасало в это неожиданное ненастье, и они уже промокли до нитки и дрожали от холода.

— Вы же простудитесь, заболеете... — крикнул садовник женщинам и передал им зонтик и вещи, которыми можно было укрыться от дождя и согреться.

...А дождь всё лил, не прекращался, а Виктору Ивановичу было хорошо и радостно.

Шпион

Лысоголовый и полный на вид дядька, одетый в чёрный линялый пиджачок, в полосатые брюки, прилёг на траву в заброшенном саду, то подкладывая ладонь под голову, то поворачиваясь с бока на бок, с упором на локоть, вглядывался в нависшие над ним ветви вишенника и груш, стараясь увидеть пернатых песенников; надоело смотреть вверх — присматривался к травам, где тоже шла жизнь: жужжали пчёлы, копошились в цветках мохнатые чёрные шмели с поперечными рыжими поясками; мошки вжикали над человеком вертолётниками; овода, дребезжа крыльшками, как заводные игрушки, садились на руки, плечи, деловито топтались, потирая ножками и, собираясь вкусно позавтракать, точили жало и пробовали запустить его в кожу человека ...

Дядька приехал проведать своё родовое поместье, а теперь приходилось ему отмахиваться от оводов. В этом, конечно, ничего нового не было – всё естественно в родной природе. Вспоминалось детство, овейное запахом крапивы. Что ни мусорное место — ищи её там. Ранней весной молодые светло-зелёные отростки можно подрезать и заправить шинковкой в пережарку для щей по-донскому, можно высушить лист крапивы и попить зимой вместо чая для бодрости духа и тела.

На хуторе крапивы — коси не ленись. Вот же он, рядом, куст обыкновенной дикой крапивы, от которого исходила какая-то пыль... Присмотрелся человек, затаив дыхание, и стал наблюдать, что происходит: на махорчиках, свисающих с макушки стебелька этого растения, стреляли в разных местах поодиночке круглые соцветия-шарики... Шарики беззвучно выстреливали, как крошечные пушки, и едва приметные глазу облачка пыльцы разлетались по сторонам, образуя на месте шариков маленькие цветочки. И эти цветочки настолько были малы, что их не сразу можно было заметить глазом, каждый в отдельности, и это тоже интересно было наблюдать, как это всё происходило, преображалось: из крохотного шарика, едва видимого, — в цветок, встроенный в кисточку, покрытую, как и стебельки, и все листочки, мельчайшим иглистым покровом сталистых иголочек. Тронь их невзначай рукой — получишь крапивный ожог: так, мол, и так, без дела не подходи, не трогай меня, имею право на защиту!

Напрасно человек старался точно определить: где и в каком месте в роскошном кусту крапивы стрельнет коробочка, выбрасывая, как пороховым зарядом, белую, клубами разлетающуюся в разные стороны пыльцу, точь-в-точь как из миниатюрной пушки семнадцатого века: пук! пук!

Надо же, прожил Пантелей столько годов, вырос под этими грушами, не раз падал в эту самую жилочку, а такое чудо наблюдал впервые — чтоб крапива «стреляла»... Глядя на растение, он и вовсе затаил дыхание... Так и хотелось прикоснуться пальцами к махорчикам в серебряных иголках, жалящих руку одним прикосновением: не подходи, не трогай, смотри фейерверк... И пахло родным подворьем, и вспоминалось детство, шалости, неодобряемые взрослыми, за которые (редко, но бывало) получал букетом крапивы по голоштаным местам. Помнил, как щипали и пылали огнём лодыжки, покрываясь шерохо-

ватой припухлостью, и это долго не забывалось, за какие именно шалости наказывали.

А наказывали за «пугачи», сделанные из винтовочных пуль с выплавленным свинцом и вставленного в отверстие согнутого гвоздя под резинку. Пульки эти находили на берегу Дона в затравевших окопах минувшей войны, в костре их легчили и забивали в катушку с нитками, в отверстие пули скоблили спичечную головку серы, «взводили» гвоздь резинкой... Хлопки получались негромкие, но ими поднимали на крыло не только грачей с овощных рассадников, но и не подпускали к вишнёвым садам скворцов в пору созревания урожая.

Науку с крапивой преподавала Пантелею баб Ньюра: эт чтоб с ребятами не открывал крышку колодца, эт чтоб в голубей не стрелял из пращи. До сих пор помнил то наказание, но уже не с обидой, а с благодарностью; самоделки нередко давали отдачу по лицу, расквашивали до крови носы и губы, и после этого не только бабка, но и отец добирался до хворостины; играть — играйте, но не делайте того, что может оставить калекой...

— Вот она жизнь... тоже жизнь... э-э ... — тянулся изо рта дядьки голос, и он, увлечённый увиденным, не слышал и не чувствовал, что за ним тоже наблюдали... Одно лишь доносилось с хуторской улицы до его уха: музыка и последние известия из динамика чьего-то радиоприёмника: «...Борис Николаевич Ельцин ... с дружественным визитом в Казахстане... встреча с Назарбаевым...»

А Пантелею в то утро приснился родительский флигелёк на хуторе... будто видел он на самом коньке шиферной двускатной кровли сине-жёлто-красный триколор атаманского Войска Донского... Флаг играл на ветру, вырывался из рук какого-то паренька, одетого в полувоенный мундир без погон, но подпоясанного ремнём; тот стоял на лестнице с молотком, прибивал древко флага гвоздём к фронтому ...

Цвета у казаков издревле имели своё значение: синий цвет — цвет Богородицы, родимый цвет донцов, жёлтый — самых близких друзей и соседей калмыков, а всем остальным иногородним делили донцы поровну красный цвет — зримый, любимый...

Как будто бы признал Пантелей в этом паренёчке первого драчуна на хуторе и своего друга Лёшку, крикнул ему: «Эй, кто тебе разрешил?!» А тот ничего не ответил, лишь пальцем ткнул в небо.

Проснулся Пантелей — к чему бы сон такой? Лет двадцать прошло, как уехал он из хутора. Сначала — в город на учёбу, а затем — на работу в станицу со своей редкой профессией метеоролога, а родительский флигелёк пустовал, хотя время от времени он и ездил его проводить. Садок там старинный, яблони, груши с дуплами и пустотами внутри. На дичку причаливал добрые сорта ещё прадед, чей портрет с бравым полчищем висел у Пантелея в городской квартире под вышитым ручником: в фуражке набекрень (едва она не падала на правое ухо), усы, положенные казаку, полуколючками вверх, грудь отглаженным кителем — вперёд; одно слово: Николай Устиныч, воин царских времён.

Прадед первым обживал степную окраину хутора. Всё здесь дышало прошлыми веками: обточенные глыбы из красного камня вместо ступенек крылечка, с узором карниз в полуметровую ширину водоотливной доски. Как-то же пилили доски и в старину и украшали своё жилище... А что же правнук, внук, — продолжили дела своих предков?

Метку своего роста прадед оставил на притолке дверной обчинки, так Пантелей теперь рукой до неё на носках едва доставал... Дед сад заложил. Отец вместо колюги-копанки колодец построил...

Остались воспоминания, будто в большевистский переворот вскочил прадед на коня по общему всполоху, крикнул домашним: «Родину надо защищать!». Жена следом на порожки выскочила с кругляшом хлеба, закатанным ею в платок. С седла нагнулся тот к жене, поцеловал в щёку: «Береги детей!» — и

ускакал... навсегда... за Родину... Так-то ему рассказывали... А теперь продолжением рода был Пантелей.

А если завтра на фронт? Будет Пантелей спешить в военкомат?

Прошлым летом съезжались берёзкинцы, дальние и ближние, на день хутора, на знаменитые родники. Припоминал Пантелей, что и ему было приглашение, так отмахнулся, нечего, мол, ему там делать, не по нём шапка... и он поглаживал пупырышек живота, пальцы цветочком скрючивал: «Занят... нет возможности...». Но иногда признавался с усмешкой: «Пороли б деды меня плёткой, чтоб не забывал их...»

В хутор Пантелей приезжал на Троицу. Уж он там и ходил по садику, и сидел на лавочке, и разговаривал с деревьями, с крылечком... жарил на костре яичницу... А в этот свой приезд недовольно ворчал: на хутор дорога в ухабах, поправить некому... А вот он бы, Пантелей, навёл порядок... «Где они тут, казачки? Ау...»

Блаженствуя, попил дядька из стаканчика, кусочек рыбки пожёвывал лёжа и был рад одному: флигель его стоял всё на том же месте целым и невредимым, хоть переходи и живи. Но висли слухи домашней лапшой про каких-то «бомжей», залётных «кентов», «чуваков» и «пацанов» без роду и племени — всюду, мол, после них один разор... Вышибают двери, забирают чугунные плиты с печек, выворачивают духовки, уголки, задвижки и заслонки... Не спрятать хозяйину на время своей отлучки ни чашку, ни ложку, ни чугунок — сдадут вандалы всё в металлолом... Одно слово: погибель на Руси, да кто остановит соловья-разбойника? Железо теперь, кому труд в тягость, — доходной стало жилой. Но у Пантелея на хуторе никто ничего не трогал, и он этим был весьма доволен.

Лысоголовый человек вкруговую обошёл подворье, домик: всё стояло на месте, лишь степная полынь подступила вплотную к порогу; дикая эта трава полонила двор, и потому казалось, что домик начинал приобретать старческий вид — всё во-

круг него светлело, прореживалось, вымирало в угоду начального первородства. А Пантелею хотелось, чтоб его родимый уголок всегда оставался таким, каким он помнил его с детства. Не раз собирался остаться на жительство, но хватало терпения всего лишь на два–три дня, начинал страдать от безмолвия, одиночества, делая известное своим собственным открытием: общение с людьми, оказывается, — обязательное условие жизни, как воздух, пища...

Редел сад, под цвет полыни маскировались некрашенные доски карниза и закрытые оконные ставни. Даже колодезный журавец возле речки с оторванным клювом торчал из камыша под окрас линиялой степи.

Ещё при жизни родителей рубленую из пластин хату–пятистенку под камышом в четыре ската перекрыли шифером под флигель, но за последние двадцать лет шифер успел потемнеть, оброс каким-то кровельным лишайником с прозеленью, стены, обмазанные красной глиной вперемешку с соломой и побеленные, — теперь оголялись рёбрами брёвен, а где саман ещё не осыпался, его извертели мыши норками и ходами от завалинка до карниза замысловатым «серпантином».

Пантелей открыл ключом висячий дверной замок — «собачку», прошёлся по комнатам. Их было две: «стряпка» и «горница». Пахло нежилым духом, пылью и грызунами. Всё в доме располагалось по своим местам: иконка в переднем углу под потолком, деревянный посудный шкаф... В исправности присела над полом донская русская печь и притороченная к ней плита — груба, которую раньше топили дровами и шахтинским угольком. Вспоминалось, как из остывшего очага, сняв чугунные кружки, вытаскивал он, помогая матери, спёкшиеся комья шлака и закладывав под растопку сухие щепки, и ничего в этом не было предосудительного.

Он захватил то время, когда в хуторе не было электрического света. Домашнее задание готовил по вечерам при керосино-

вой лампе. И никто не роптал на неудобства, образ жизни устраивал жителей хутора. Но позже что-то изменилось в отношении к традиционно-бытовому укладу, а слово «колхозник» постепенно обретало насмешливую окраску, будто они люди второго сорта. И может именно поэтому не остался Пантелей в хуторе, не соглашаясь с перспективой лишнего человека. А теперь брала какая-то тоска о прошлом...

Остановился напротив лежанки, где когда-то грелся и спал, вспоминал детство, рукой провёл по дверному косяку с закрашенными зарубками роста своего прадеда и отметкам собственного прироста по годам, сделанных отцом химическим карандашом на уровне его макушки на входной двери.

— Эй, кто такой, что здесь делаете? — услышал Пантелей детский голос за спиной и неохотно оглянулся: перед ним стоял мальчик лет тринадцати с деревянной пикой и железным щитом, похожим на оцинкованную крышку с двухведёрной выварки. На голове у него задиристо красовалась настоящая синяя фуражка с красным околышем и чёрно-оранжево-белым овалом кокарды выше глянца козырька; фуражка, казалось, вот-вот свалится с затылка, но её держал подбородник. Глаза мальчика с настороженностью ожидали ответа из-под белёсых бровей с просечкой рубцеватого глянца розовой кожицы, надо было полагать, от недавней мальчишеской травмы; он часто дышал после напряжённого бега и не сводил своего копья с незнакомца.

Пантелей какое-то время разглядывал подстриженного поармейски мальчишку с облупленным носом, похожим на молодую розовую картофелину, и, не приняв его всерьёз, хмыкнул:

— Молчок. Тихо. Пойдём со мной, я тебе тако-ое сейчас расскажу... — и дед под конвоем мальчонки вышел во двор, прилёг на траву с намерением продолжить свою пивную трапезу; наливая в стаканчик из бутылки пенистую жидкость, он шёпотом тянул:

— Тс-с... Тихо!

— Чего «тссс»? — и мальчик уже наступал на незнакомца. — Вы кто? Что здесь делаете?

Пантелей не знал, что ответить этому необычно одетому и «вооружённому» не на шутку пареньку. Рассматривал его с любопытством, и смешинка цвела на его лице: «А хорош... пострел, чей будет... по фамилии?» Но надо было отвечать на вопрос — что поделаешь? Молодёжь выросла, дядьку не знают... забыли его на хуторе!

Думал: «Сказать мальчишке правду?» Но поймёт ли играющий в «войнушки»? В детстве сам когда-то верил в добрых лисичек, «слушал» былины своей бабушки, и вдруг захотелось вновь прикоснуться к детству, развлечься нехитрым воображением, где есть «наши» и «чужие».

Дядькины брови поднялись, и он приставил палец к губам:

— Тсс-с... Я тебе скажу, кто я...

— Ну-ну, живей сказывай... — смело шагнул мальчишка ещё ближе к Пантелею.

— Токо ты... никому ... — так дядька мальчишке, и усмехнулся: — Ты чё ж, не слыхал? По радио объявляли... поймали двух шпионов, а они сбежали из тюрьмы... Тс-с... — оглянулся по сторонам и снова приставил палец к губам. — Тс-с... Это мы и есть. Мой друг подался к Ростову, а я — к Воронежу. Чуть-чуть отдохну, а в ночь тронусь дальше... — и дядька погладил ладонью по своей стриженной голове: — Пока дойду — отрастёт, да?.. А ты б взял да и хлеба принёс...

Пантелей покривился, стараясь изобразить злую физиономию.

Мальчик не сводил глаз со шпиона, пятился назад со своим деревянным копьём — и враз, в одно мгновение, исчез в зелени сирени, досрочно лишив Пантелея удовольствия от общения.

Неожиданное исчезновение мальчика вызвало у Пантелея смех: «Эко я его напугал... И чей такой?.. Когда-то и мы играли: шашки деревянные, мечи, луки самодельные из вишнёвых веток, стрелы из камышинок... Хутор был тогда ого-го... вой-

на прошла, а детей довоенных возрастов — под сотню ходило в школу... — вспоминалось теперь старому человеку, и сравнивал он прошлое с настоящим. — Под тысячу душ было населения... а осталось теперь с полсотни... разбегались кто куда... При царях жили — была у казаков свобода на расселение, человек умел радоваться природе, свежему ручейку, родничку, а теперь подай ему город, кран с горячей-холодной водой, а на родники теперь ему сподручней смотреть в телевизоре... Поселения обтянули невидимой сеткой, за черту которой не могли выйти на жительство — противозаконно, документ не дадут...»

Не так долго пришлось отдаваться собственным воспоминаниям и рассуждениям, как со всех сторон на Пантелея из кустов сирени, вишенника, сквозь полынь и лопухи выскочили какие-то люди, держа наготове в его сторону колышки, с виду настоящие шашки, заточенные деревянные копья, а где-то за толпой, над головами молодых этих людей, одетых по-казацки, мелькала и посвистывала «восьмёркой» нагайка.

— Стой! Ни с места! — давали ему команду, как разглядел Пантелей, обычные мальчишки, и среди них шмыгал носом тот самый, с которым он только что вёл беседу.

Пантелей попытался встать с земли, чтобы видеть всех до одного, кто перед ним, иначе какой разговор лёжа? Сразу же оценил по лицам: никто с ним шутить не собирался. Их было семь — мальчишек: двое с палками, лет по тринадцати, стояли справа перед ним в готовности «выбить пыль из старого тюфяка», ещё два «бойца» слева, чуть ростом поболее, и возрастом, видать, постарше знакомого мальчугана. Но некогда было рассматривать, кто перед ним: под самую грудь подпёрли дядьке деревянные рогатины с заточенными концами, а потому при беглой оценке «вооружений» Пантелея начинало слегка подташничивать. Всерьёз представил даже: одна из этих страшилок может пришить его к земле вот тут сразу же, а другими тремя шту-

ками мальчишки пригвоздят ему к дорожке ноги, и он тогда вообще не сможет сопротивляться...

Вмиг как-то прошла весёлость. Понял Пантелей окончательно: шутки плохи. Седьмой подросток, которого Пантелей принял за атамана, с улыбкой победителя командовал пальцем, распоряжаясь, что надо делать с арестантом: не спускать глаз, держать в окружении, а сам помахивал «волчаткой».

Лицо командира Пантелею было знакомо. Штрихи межбровий, розовые пухлые щёки, глаза напоминали что-то родное, близкое. Но паренёк в зелёных погонах с тремя золотистыми лычками, со значком на ХБ с изображением поражённого стрелой оленя на фоне развёрнутого донского флага был неприступен; он радовался своими прищуренными глазками, дышал запалённо, отплёвывался на сторону:

— Попался... щас разберёмся...

Пантелей пытался добиться объяснения: кто такие, что надо?

А дядька боком пялился к стволу груши. (По крайней мере, она могла служить защитой со стороны спины). Двигался по чуть-чуть, чтобы, сидя на земле, можно было удобно прислониться плечом к дереву, заводил с налётчиками разговор:

— Да вы што, мужики, ай вы шутите? Вы кто?

— Это мы у тебя сейчас будем пытаться, кто вы такой... — крутил над головой рукояткой нагайки, как пропеллером, молодой человек в погонах; он посвистывал под черненькими нестриженными усиками, пучил глаза от возмущения: — Какие мы тебе мужики? Ты чё, не вишь — «казачий патруль»?! — и показал на рукаве гимнастёрки жёлтую повязку с буквами «КП» и нашивку с оленем и стрелой.

Рядом стоящий паренёк в фуражке, подпоясанный ремнём и в чириках под белые чулки, с заправленными в них колошинами, с копьём в руке, пружинисто покачивался на ногах:

— Ванюшка, он это, шпион?

Мальчик с голубыми глазами и облупленным носом отступил от Пантелея, как бы приглядываясь, дудочкой выпячивал пухленькие губы:

— Так точно, сам сказал, что из тюрьмы... Так и так, грит, отдохну чуть — и дальше на Воронеж... Я сразу к вам: тревога! — погрозил пальцем Пантелею: — У-у... шпион...

— Кто мы... Казачий патруль — вот мы кто! — представлялся командир с погонами и ходил вокруг Пантелея стратегом, с поднятым подбородком и одержимым взглядом.

— Да, так точно! Ни с места! — выпячивал живот самый маленький, в белых карпетках*, и хлопал ладонью по лампасине своих пропылённых шаровар. — Вишь, казаки!

Третий боец с гордостью тыкал пальцем в нашивку на рукаве:

— Понял? Казачий патруль мы... Вот кто!

Только теперь Пантелей стал догадываться, почему его арестовали, что это за команда.

— Ребя́тушки, да вы что, я ж пошутил... насчёт шпиона... — засуетились глаза деда туда-сюда, и часто заморгали веки с редкими выцветшими ресницами.

Команда зашевелилась, отступила назад со своими палками, железками, дав возможность «шпиону» подняться во весь рост.

— Стоять! Не шевелиться! — уверенно командовал мальчик с нагайкой и не поддавался на уговоры Пантелея. — Щас мы разберёмся, кто вы такой, что здесь делали...

— Да ничего я не делал... Я приехал домой, отдыхаю... Моя дача!

— Вот участковый приедет по вашему задержанию, пусть он и разбирается... Стоять, говорю, ни с места! — не шутовал казачий командир и замахивался плёткой, задерживая рукоятку на плече.

Пантелей скрестил руки на груди, голос перебивало с мольбы на возмущение:

* Карпетки — ручной вязки чулки.

— Да поймите вы... пошутил я с вашим мальцом насчёт шпиона... Сербин я, Пантелей Захарыч... Я тут родился, жил... каждый год проведу домик свой... Что тут непонятно?!

— Господин урядник, пусть покажет паспорт, — кивнул казачок с рогатиной командиру с тремя лычками.

Сержант достал из подсумка, похожего на торбу, фотоаппарат и сфотографировал арестованного, а тот свёл глаза к носу, затем устремил их к небу, смиряясь со своей беспомощностью:

— Ну, кто с паспортом ездит на дачу?.. Да уберите вы, в конце концов, своё оружие! — шевельнул плечами лысоголовый дядька, но при этом деревянные копыя, рогатины вновь подвинулись к самому его лицу.

— Гражданин Сербин, вы задержаны казачьей дружиной хутора по подозрению незаконного проникновения в чужое жилище... возможно, с целью воровства, мародёрства... Вот сейчас установим вашу личность, кто вы такой... — предъявлял ультиматум ломкий детский голосок с попыткой освоения низкого баритона.

— Я — Пантелей Захарыч... ещё раз повторяю... или вам плохо будет! Я тут всех знаю в хуторе... кто вы такие? Ушаковы, Дугины... за нами жили... Управляющим был на отделении Герасимов, мой годок... Дальше — братья Алимовы... трактористами работали... Мельниковы — пчеловоды и охотники. ...

— Мельниковы, говоришь... — кивнул командир своим подчинённым.

— Ага, Мельниковы... Никодим... сам эт старый, сын яво... фу ты... как... забыл...

— Были такие... — с поклоном ответил казачок в гимнастёрке и арестованный повернулся к нему, видя, как у старшего в левой мочке уха сверкала изжелто-оранжевым серёжка в виде полумесяца, означающая, что сей обладатель — единственный сын у одинокой матери, коего в сотне, бывалыча, берегли командиры.

— Были такие... Дядьку Никодима Мельникова — похоронили... Алимовы уехали в город, старый погиб на шахте... в их доме сейчас мы живём... Герасимов... по контракту ездил воевать, покалеченный сидит... Дугины... Зиновий сам Дугин на заработках в Москве, а его Мареванна стариков ходит обслуживает... А Вересины торгуют по районам ездят, их ребята с нами... А вот мы вас не знаем. Приказ атамана — ферму пустую сторожить и дома нежилые... И этот флигель тоже под нашим наблюдением... Так если б не мы, — давно бы его раскулачили... Атамана слушаем: будет домик стоять целенький, с печуркой, с окошками, — глядишь, кто-нибудь из бывших хуторских вернётся — нам же веселей будет, в полку прибудет! А вы как на разор пришли, хоть бы раз к атаману нашему явились, так, мол, и так... обществу представляюсь... Ушаков у нас сейчас атаманит, Матвей Фёдорович. У нас тут не шути. Пантелей Захарыч, хоть вы и старый человек, а обычаи наши надоть соблюдать... Приехал — доложил, уехал — тоже дайте известность. А теперь мы вам должны поверить, что вы не шпион, не вор. Вот и будем ждать участкового. Признает он вас — отпустим, нет — отправим в полицию. У нас тут не шути — местное самоуправление.

— Отпустите меня! — рванулся было задержанный.

— Дядя, вы сами сказали: шпион, из тюрьмы — напомнил Пантелею казачок с пикой и подмигнул ему глазом, раздувая нос-картофелину.

— Ребята, ей-богу пошутил, ей-богу... — оглядывался вправо-влево арестованный, смягчаясь в голосе, а сам думал: «Што им ещё сказать, чтобы поверили?»). Быстро, сналёту пытал:

— А ты чей? Может, родителей, дедов знаю...

— Я — правнук Дугина Демьяна Фёдоровича, героя Великой Отечественной войны, — с гордостью поправлял казачок фуражку с выплядывающим из-под неё курчавым хохолком чубчика и тянулся по стойке смирно.

Пантелей смелел, рукой показывал всем что-то на стороне:

— Слыхали? А Демьян Фёдорович был нам родственником, бабушки нашей двоюродный племянник... У них Дашка была дочь, Аниса, Александр старшой и Петро... Правильно? А ты вот внук Петра... А отец твой — почтальон Терентий Петрович Дугин... Правильно?

Казачок сощурил глаза, приглядываясь к лицу деда, обиженно шмыгнув в себя носом:

— Та-ак...

— Вот, если бы я был чужак, разве такое знал?

Дружинники переглянулись, их «оборонное» оружие, теряя бдительность, никло «остриём» к земле.

* * *

К домику Пантелея на полном ходу затормозила полицейская машина с синим проблесковым маячком на крыше. Резко хлопнула дверца. Участковый, путаясь ногами в пырее, перепрыгнул через перелазку и быстрым шагом шёл к порожкам. Пантелей прислушивался в сторону идущего и угадал полицейского ещё издали. Да и как же было не угадать, если он тоже был родом из берёзкинцев. Шуркой в детстве звали его; щупленький рос, возгriвный, а вот те стал настоящим казаком; и в плечах, и в походке — важный и крепкий, а лицом, видал как-то его Пантелей в райцентре, — неподобно сурьёзный.

— Александр Степаныч, — спешил издали представиться Пантелей, — выручай шпиона!

Дружинники окончательно опустили свои доспехи и отошли в сторону, а участковый с улыбкой подал «арестанту» руку:

— Попался? Так-то. Дружина у нас тут работает. Молодцы, казаки!

— Служим России и Дону! — отвечало войско хором.

Пантелей радовался своему освобождению. Что б с ним дальше сталось, если не участковый? Верно, отправили б в полицию... пропал бы целый день.

На травку под грушей к «шпиону» подсел участковый и рассуждал бросками ладони:

— Не, молодцы! Я тут с казаками горя не знаю. На хуторе у нас ни краж, ни других правонарушений нет...

— Дружина, слушай меня! В две шеренги — ста-ановись!.. Шагом... марш! — слышал Пантелей команду старшого дружинника при погонах, а участковый продолжал ребром ладони расставлять всё по своим местам:

— Общество, казачий круг тут работают... Завтра на смену из городка приедут другие... раз в месяц на благо обществу молодым не в тягость служить. А хуторские казачата помогают. А вы уж извиняйте, так получилось...

— Да ладно... бывает... — отмахивался Пантелей.

Прощаясь, вновь ручкались в знак дружбы, а Пантелею хотелось обнять земляка и поцеловать его в щёку, как в первый день Пасхи. Одно слово: освободитель! От приятной встречи, общения и пережитых минут напряжения перехватывало дыхание, на глаза наплывало дымкой:

— Вот есть же люди, а? Хорошие люди... — и дед крепко пожимал руку участковому, виновато поглаживал лысую голову, покручивал ус.

— Вам бы тоже надо в круг записаться, — на серьёзной ноте заканчивал полицейский. — С вашим возрастом, жизненным опытом — быть в совете стариков. А иначе кто нам будет готовить молодёжь к жизни, службе, чтоб по совести, а не абы как. Слышал, что наш Путин сказал: «Я думал, они всё забыли, а они все свои традиции помнят». Так что вот так: всё помним, служим верой и правдой.

Строем ушли казаки-дружинники, с синей «мигалкой» на крыше автомобиля уезжал участковый, а Пантелей, прихрамывая, спешил к перелазке, чтобы успеть помахать вдогонку своим юным друзьям, которые уходили строем, и вдруг неизвестная

песня взбурывала настоящую на запахах степных трав тишину, зорким ястребом поплыла над донским белогорьем:

Мой дед казак, да что ж мне, братцы, клясться?

Да вон и шашку я повесил по ковру.

Я вас прошу, никак не сомневаться:

Мой дед казак, ей-богу, я не вру!

* * *

Пантелей, проводив гостей, долго сидел в задумчивости, затем прошёл в свои «палаты». В комнате он поклонился иконам, расстегнул пуговицы своей рубахи, изнанкой поднёс к губам, дохнул влажно и горячо широко открытым ртом и принялся протирать стёкла рам с древними лицами святых; что-то трепетно-жалостное хотелось сказать, и как-то само собой вылилось из души:

— Благослови, Господи...

А выполнив дело, он с облегчением вздохнул, перекрестился, смиренно отошёл к печке и, нащупав свою опору на прогретом солнцем пригрубке, вытащил из кармана пластмассовую раковину и придавил нужную кнопку вызова:

— Здорóво был, сынок! Я на хуторе... Теперь можно жить единолично. Прибегай, поплануем, скоко можно сидеть на голом асфальте? Давай, жду... Нам тоже надо что-то доброе в память оставить... кто будет после нас...

...Прошло время, на хуторе мы с дедом Пантелеем и всей его семьёй крепко подружились и теперь ждём возвращения новых хороших соседей, которые не боялись бы заняться землёй; советская власть, пожалуй, теперь уж не вернётся, раскулачивать не будут; приезжайте...

МИНИСТРЫ

На кургане, как в древние скифские времена, каменным изваянием сидел на коне всадник. Он был одет в зелёный брезентовый плащ с капюшоном на голове и держал перед собой книгу, время от времени перелистывая страницы... Иногда книга падала из рук верхового, и он не спешил её поднимать. Но если бы кто-нибудь был рядом с ним в тот момент, то непременно бы удивился: пастух спал, сидя в седле.

Конь тоже понуро дремал, опустив голову с сонливо-слезящимися глазами и стриженной гривой под щётку. Хозяин Еремей не так давно сбыл отрезанную гриву в обмен на десять литров солярки, но хвост у лошади не стал трогать: срамить своего четвероногого друга — ни-ни. Так что напрасно приставал к конюху чернобровый меняла с «овечьими» ножницами в руках. Ерёма грозил «собачьему сыну» кнутовищем с зажатой в ладони плетью об семь прожилин, сплетённых в змейку.

Лошадка под седоком жевала беззубо, гремела на губах железом удил, вздыхала, переступая с ноги на ногу и, придерживая на весу отдыхающую ногу, едва касалась земли носком стоптанного на сторону копыта. Но копыто это не просто зависало, оно и во сне всегда было наготове в случае опасности: ловца или зверя перешибёт, переломает кости...

Вислое солнце позолотой отсвечивало на гладкой шёрстке брюхатой лошади, сглаживало её голодные ямки на боках. Этой октябрьской порою, когда с деревьев щедрый вал даров и красок, когда нет уже комаров и оводов, появилась она на свет божий эдак лет четырнадцать назад в колхозной конюшне. Выросла в степи, и у неё были жеребята, о которых она уже ровным счётом ничего не помнила: где они, кому теперь служат и живы ли вообще в этот ужасный век технического прогресса.

Еремей звал лошадку Мотрей. Он привёл её с фермы в счёт имущественного пая, сразу заговорил с ней по-свойски, ува-

жительно. И молодая кобылица с тех пор каждое утро встречала своего хозяина на единоличном подворье приветливо-радостным ржанием. И вот уже добрый десяток лет она вместе с Еремеем пасла небольшое стадо бурёнок с телятами. Хозяин называл их герефордами, а по ней они были всё те же коровы, только волосатые, коротконогие и с острыми у бычков рогами, к кончикам которых хозяин прикручивал свинцовые грузила для придания им безопасной формы, чтоб в глаза не росли, не слепили.

Влез Еремей в фермерство, когда только ленивец не желал стать собственником. Из колхоза не выделяли по началу. С боем взял свой пай земли в двенадцать гектаров на искрайке яров с пастбищем, две коровы да лошадь вот эту в придачу. Летошней весной пахал и сеял свой клочок земли травами разными, а в этом году из «чермета» выкупил в собственность колёсный трактор. А начинал обживаться с малого: от двух коров вырастил четыре, от четырёх — восемь, от восьми — шестнадцать... И через десять лет у Ерёма было уже своё стадо.

Всю жизнь батрачил Ерёма на колхоз, а теперь работал на себя. Боже, спаси и помилуй, если он что-то не так делал. В своём хозяйстве недостачи не могло быть, потому как своё стерёг; корма всегда в целостности и сохранности... А подоит коров — всё молоко его, сам решает: почём и куда сбыть товар. Ерёма сам себе хозяин, сам себе командир, если не считать решающий голос жены. Верно, как же без неё? Фермерство — дело семейное. Это не колхоз. В колхозе чуть что — и судили, и зарплату выворачивали... за потрапу, за недогляд, за «авось». Но теперь-то он работал на себя!

Заматерел Ерёма, вращая, как дуб, мощными корнями в тучную меж яругами землю. В его осанке появилась степенная дородность. Исчезла суетливость, свойственная людям более молодого возраста. Он уже не так скоро поворачивал голову на всякий окрик, кое-кому не скупился занимать денежку без про-

центов от продажи бычков, и за это его почтительно стали называть по имени-отчеству.

В советское время Ерёму часто фотографировали в газету, о его трудолюбии писали районные журналисты. Как правофлангового социалистического строительства, досрочно приняли в партию. Всё бы ничего. Но поначалу молодой коммунист не мог понять: почему надо ему платить деньги... взносы значаща. А раз так, то вскоре новоявленный партиец махнул рукой на идейную сознательность, думая впотайку про себя: «Да на чё она мне нужна, эта партия, чтобы за своё членство в ней ишо собственной копеечкой оплачивать». С тех пор Еремея в районе как будто не стало. Никто к нему не ехал, не шёл, про него как будто забыли. Лишь одно он успел уяснить за это время чётко и твёрдо, что к письмам из налоговой инспекции следует относиться почтительно. Без проволочек платить за землю, с добавленной стоимости отрезать полагающийся куш тем, кто в своих письмах называл его гражданином, попутно напоминая о государственной регистрации частной земельной собственности и сатанинском всемирном номере, с угрозой отдать под суд в случае неуплаты. И он оплачивал всё, как полагалось, но при этом всё больше замыкался на хозяйстве, будто обрастал струпом, роговым панцирем. Может быть, потому в его представлении всё постороннее становилось ненужным, необязательным. Его, к примеру, уже не интересовало, кто там в районе главный зоотехник, начальник сельхозуправления... Э-э... будь он, Ерёма, семь пядей во лбу — давно бы разогнал всех кабинетных начальников (какой от них прок), оставил бы ветеринарного врача и одного агронома на весь район, а остальных послал бы землю пахать и скотину водить, чтоб они на своей шкуре знали, как достаётся государству благосостояние.

Ездил он как-то в свою районную администрацию и увидел. Сколько там в каждом кабинете сидит писарчуков — и все что-то считают, что-то пишут, — а ты им, Ерёма, плати, ублажай

их красивую жизнь. Да ещё не так в дверь постучал, не так зашёл, цифру в отчёте не туда вписал — считай, пропавший ты человек, да ещё на нервах, как на балалайке, так наиграются, что и белый свет станет не мил... Чего ж таких Ерёме уважать, чего на них молиться?

За пятнадцать последних лет ни одного начальника не было в гостях у фермера. Благодать! Никто не указывает, что надо делать, а это как будто бы в лесу собака сдохла: сам глава поселения прибыл и с ходу выдал, будто после стометровки доклад читал: «Министр едет! Ми-нистр... — и поднимал палец к небу. — Ты ж, Еремей Иваныч, покажи скотину свою, опытом поделись... Это ж на всю страну! Будут иностранцы, телевидение... Так, мол, и так, животноводство сохранили... Да гляди, лишнего ничего не мели языком. А то ты это... Ляпнешь чего-нибудь».

Ерёма поёрзал в седле, присматривался к гостю с удивлением, как один курдючный вожак на новые ворота, и снова раскрыл перед собой книгу, раздувая губы и щёки. Как при сдерживаемом смехе. (Будто бы смеяться нехорошо, но так хотелось расхохотаться.) И к такому сочувствию он пришёл не из-за того, что к нему ехал министр, а потому, что несколько лет тому назад, при гнилом социализме, жизнь на селе некоторые политики представляли беспросветной тьмой, как в далёкие времена при крепостном праве.

— Не, ты слухай суды, — моргал глазом Ерёма гостю. — Каждому жителю села, пишут, благоустроенную квартиру или дом... Что бы не жить, а?

Ерёма тронул поводья уздечки и поскакал рысцой заворачивать табун от озимых посевов, помахивал в шутку кнутом, но по-настоящему щёлкал им в воздухе, словно стрелял новогодними хлопушками. Пастух завернул табун и вновь сидел в седле с книгой в руке. Что-то из прочитанного трогало его, и он из-

редка хмыкал, громко сморкался на сторону, прижимая пальцем ноздрю, и при этом непристойно высказывался:

— Ха, ёли-пали...

Он как будто забывал, что его возле кургашка ожидал глава хуторской администрации. Ну, приехал и приехал, так ему и надо, пусть дышит свежим воздухом, а Ерёме работать надо, и он поскакал на коне дальше в степь, чтоб коровы не зашли на соседнее поле с неубранной ещё кукурузой.

Начальник, глядя вслед скачущему всаднику, постоял ещё немного. Махнул безнадежно рукой:

— Ну, я тебя предупредил...

Не прошло и получаса, а к Ерёме на полынный бугор меж яров мчался уже милицейский «уазик» с синей мигалкой. Куда ж деваться? Надо встречать как положено. Поскакал Ерёма к незванным гостям, направляя лёгкой рысью в сторону автомобиля всхрапывающую Мотрю. Вскоре увидел участкового в полной форме при погонах на новом кителе и в фуражке с высокой тульей, а с ним ещё двоих в штатском:

— Ерёма, ты тут один? — строго уставился на пастуха старший лейтенант и почему-то указывал на ближайшие лесополосы своим пассажирам.

— Ды вот, кобыла ещё и гурт коров...

— Сам всё, сам... Давно бомжей каких-нибудь нашёл бы скотину стеречь... Достукался... Доработался... министр едет. Где гостя принимать будешь?

Спрыгнул с коня Ерёма, заметно сердился моргучим глазом и топал ногой оземь:

— Вот тут, ёли-пали... Что ещё?

А люди в штатском допытывались своего: «Не видел ли поблизости кого-нибудь из посторонних? Есть ли другие дороги к пастбищу?» Чего они хотели от Ерёмы, он так и не понял, а надо уж было скакать и заворачивать табун к хутору. А там уже в его сторону заворачивала третья, четвёртая машина. Книгу сунул в

сумку, поводья уздечки — в натяг. Конь плясал и рвался вскачь. Мысли у пастуха уже о другом: «Чего ему надо, министру? Я сам, как министр...»

— Стой, Мотря... ёли-пали...

К кургану, что высился у яра, где Ерёма неделей раньше пас скотину, машины по траве накатали дорогу. Начальники, друзья, знакомые и вообще какие-то незнакомые люди со страхом в глазах спешили сообщить одно и то же: «Министр едет!»

Да кто он ему, этот министр? Сват, брат или кум? Он фермеру ни «тр-р-р...», ни «но!». А может быть, он Ерёме зарплату свою подарит? Держи карман шире! Размечтался ты что-то, друг мой Ерёмушка... И пастух, поразмыслив, решил, что ему не нужны ни министры, ни начальники, потому как пользы от них ему ожидать не приходится, да и не боялся он никого.

Ерёма верил и надеялся лишь на своих сыновей. Двое их у него. Они и косу-литовку умеют в руках держать, мощным трактором распоряжаются умело, знают, с какого бока к коню подходить. Выйдет Ерёма на пенсию — им передаст свою ферму, свою любимицу Мотрю, всю эту степь, пахнущую зноем солнца и трав с утренними туманами под осень, с майской радугой над хлебным полем и ликующей живородной трелью небесного жаворонка.

Вдруг осенило: «А может, министр предложит подать ему земельную долю?» Да ни шиша! Он знает, что сказать ему на это, он отрубит ему как положено: «Земля не продаётся! Есть наследники!» Спрыгнул с коня. Пошёл хозяйским шагом вдоль поляны, кнутиком пощёлкивал по голенищу сапога (его тут выпаса!..).

Вон они, бурёнки, носы в травы уткнули, бочонками перекачиваются с косогора на косогор. Им сейчас не до хозяина. Жуют и жуют, утробу набивают, а рядом с ними телята пасутся, смотрят на матерей и тоже учатся щипать травку. Бывало, потеряется малыш-коротыш в доннике — «ма-а-а», — плачет, стало быть, по-своему. Коровка беспокоится, поднимает голову, зовёт

своего телёночка к себе: «Му-у-у...» — пора молочка попить. Бежит – маленький, пузатенький, со звёздочкой во лбу, где рожки уже чешутся и мягкими костяными пульками уже торчат из рыжей шерстки. Ерёма телёнка подталкивал под вымя матери; этого вот герефордика не так давно отелила Лысуха, ему надо скорёхонько поправляться (по килограмму в день!), чтоб в зиму войти натуральным бычком и с настоящими рожками, а оттого-то и не сводил с него глаз хозяин и уже бирочку на ухо ему повесил, что значило в книге учёта — на племя.

И вновь к Ерёме на пастбище пылили автомобили. Пастух занимал своё привычное положение в седле. Левая рука держала наготове повод уздечки. Лошадь колесила шею и остро подламывала голову, всхрапывала и не стояла на месте, перебирая ногами. На окрайке снова сбились табуном машины — и людей не меньше. Кто-то издали фотографировал фермера с его стадом. Место это будто специально было приготовлено для съёмки: на переднем плане всадник на кургане, за ним — стадо герефордов с телятами, дальше — красноглинистые овраги в обрамлении охваченных желтизной лесополос из голостёгих макушек тополей и лёгкого на зной и заморозки царствующих пока что клёнов. А под ногами гостей выколосились из густого травостоя метёлки пырея, сухо хрустели под каблуками престарелые кашки, васильки и колокольчики; шатрами вспыхнули вдали над глинистой осыпью яра кроваво-красные от плодов копны непролазного боярышника.

Люди какое-то время стояли, любуясь, наверно, панорамой степи. Какой-то человек пошёл по траве к Ерёме. Тот по-прежнему сидел в седле, из-под руки наблюдал за стадом, не спуская глаз с идущего к нему незнакомца. И чем ближе подходил тот, тем больше появлялась у пастуха возможность разглядеть гостя: непокрытая голова светилась лысиной, большой круглый нос, прижмуренные от солнца глаза растекались добродушной улыбкой. Вот он оказался совсем рядом, и Ерёма

явственно различил в нём человека кабинетной профессии. На это указывал и его розовый галстук под воротничком голубенькой рубашки и зависший на заколке повыше пупа. Цвет лица, как у детей из подземелья, и стриженный под ёжика, и вовсе не лысый, как показалось вначале; в тонкой оправе очки, которые гость время от времени снимал и приставлял к глазам. Оставалось догадываться, что это и был тот самый министр, которого весь день ожидал народ. Не понимал одного: чего это все его боялись?

Гость отмахивался от сопровождающей его толпы. Подошёл вплотную к Ерёме, приветствовал его поднятой ладонью и, поправляя в очередной раз блескучие очки, устремил свой взор к стаду пасущихся коров. (Ерёма как будто его не интересовал, но он говорил с ним, всматриваясь вдаль.):

— Вот это да-а... Ну и... как бычки? — спрашивал, будто до сей поры и не приходилось видеть подобную картину в донских степях...

Да, министр Коньков знал, что родиной этих герефордов, завезённых в СССР, была Канада, но там разведение этой породы скота поставлено на промышленную ногу. А это на юге России... какой-то фермер расплодил целое стадо. Сенсация! Пример на всю страну! И министр теперь перевёл взгляд на конного верхового, а тот в свою очередь из-под ветровки включил холодные глаза в гостя.

Пастух хмурился, пыхтел, веки его глаз почти полностью сомкнулись, будто у спящего, нижняя вислая губа каким-то образом небрежно удерживала потухшую сигарету. И можно было думать, что пастух действительно заснул в седле и ничего не видел, и ничего не слышал. И это требовало от министра говорить громче:

— Я спрашиваю: как бычки?!

Пастух хмыкнул и промолчал, что означало для него «ёлипали»... Но не мог он далее не отзываться и переспросил:

— А-а?

Ну, что ему надо было рассказывать про бычков? Если говорить всерьёз, то надо бы поведать всю подноготную о бедах сельской жизни, но на это у него дня не хватит... И всё же Ерёма поднял разбуженное веко спящего глаза, как сова, — солнце так и ярилось, так и слепило, — недовольно буркнул:

— Ну ды как... как... как министры!

А министр этот был правдошный министр. Он открыл рот, будто яйцо, сваренное вкрутую, проглотил разом:

— Это-о как – как министры?

Ерёма пожевал что-то, взгляд его наострился, глаза расширились и озорно прыгнули из стороны в сторону, сверкнули дерзко и недоверчиво, вся его фигура выправилась в седле, и он даже привстал на стремянах. Конь почему-то игриво всхрапнул, косо оглядев пришельца, и вроде бы даже изготавился рвануть с места в бешеном намёте, но пастух дёрнул поводья уздечки так, что всегда послушная Мотря аж присела на задние ноги.

— Ды им чё ж: жруть ды... э! Что делают?! — и пастух оттопырил нижнюю губу, сморщил нос и показал кнутовищем на коровьи шлепки, исходящие паром на полуденном солнце.

Ответ, видно, понравился самому Ерёме, и он ощеривался в ухмылке, сверкал бельмами глаз и напрямую повторял сказанное, что делают бычки на пастбище...

Министр не ожидал такого дерзкого ответа. Он посуровел, снял очки:

— И давно они так? Хм—хм... — и тоже прищурился, пряча родимый цвет светло-карих зрачков; но Ерёма видел, как светло-карие умиротворённые глаза министра превращались в жгуче-чёрные точки.

Гость пожевал что-то во рту, брови подпрыгнули:

— Ты с кем говоришь?! С мини-и-стром...

Пастух пошевелился в седле, тоже пожевал ртом, всё ещё разглядывая любопытного гостя, вытянул губы дудкой:

— Фю-у-у... — свистал тоненько. — И ничего ты мне не сделаешь...

— Ну, знаете ли... — принял министр стойку с разворотом, когда всё тело и ноги уже шли прочь, но голова всё ещё была где-то позади, а думающая часть её и губы подбирали подходящие выражения, чтоб не уронить свой имидж, и дать отпор в ответ на эдакую дерзость... а нужные слова предательски не находились.

— Фю-у-у... И ничё ты мне... Фю-у-у... — свистал пастух розеткой вытянутых губ, — не сделаешь... Тут не колхоз... и я тебе не боюсь... фю-у-у... Понял? Ты кто мне? Ды никто! Я сам себе министр. Понял? Ёли-пали... Фю-у... Ишь, повадились... Да я сам себе министр! Фю-у... Эт вам не при колхозе... Фю-у...

Пастух отпустил поводья и поскакал заворачивать коров от кукурузы. А министр поглядывал на Ерёму, раздумчиво делая шаги в сторону своего respectableного автомобиля.

2012

Уляша

Она была ещё крепкой на шаг женщиной. Идёт по улице, издали видна её причёска «сорочьим гнездом» с повязанной в тёплое время года «газовой» косынкой, а зимой — в пуховом платке серого цвета с начёсом, из-под которого непременно просматривалась её высокая укладка то ли собственной косы, то ли шиньона. Казалось, женщина при движении никогда не смотрела под ноги — только вперёд, сохраняя своё достоинство в материнской осанке груди, округлости плеч и всей её фигуры, чего уж никак нельзя было скрыть ни под какими одеждами. И вот она шла-шла прошлой осенью (было ещё тепло, в газовой косынке на голове) и остановилась неподалёку от своего

дома: перед ней на просёлочной дороге, куда она собиралась наступить каблучком, валялась под цвет палой листвы с деревьев красненькая бумажка. Мало ли их гоняет ветер? Но эта сосредоточила внимание. Пригляделась, не наклоняя головы: да нет, бумажка-то не простая... сотенная купюра, похожая на октябрьский дубовый лист — всюду по ним теперь ходили, топтали и уже не обращали внимания на жёлтые, оранжевые, красные краски осени с её дарами.

Женщина присела, принагнулась... И верно, под ногами сторублёвка. За копейкой теперь стыдно уж нагибаться. Увидит кто — засмеют: дожилась Уляша, копейки начала собирать... А новая копейка чего теперь стоит — разве что рубль бережёт, но ничего за неё не купишь. А тут сторублёвка с неба упала, и она бы ей сейчас пригодилась. Пенсия-то минимальная — одну тонну угля купила, и всё, а надо бы две на зиму. Но подождёт, в следующем месяце, может, ещё с полтонны закажет. Хоть и одна осталась, а душу греть надо...

Принагнулась Уляша и выпрямилась. Глазами кинула на ветви придорожных деревьев, вдоль проулка: кругом ни души, никто не подсматривает. Стоит лишь нагнуться, опустить руку и подобрать потерянную кем-то купюру. Но нагнётся ли? В вязаном платье, как в мешке.

Помедлила. Казалось бы, проще простого: наклониться и поднять бумажку — никто же не видит? Бывало-то чему учили родители: лежит чужое — не трогай. Если человек потерял что-то, вернётся и возьмёт своё. А это не шапка, не клочок сена с арбы, а денежка. Но вдруг купюра с ниточкой? Мальчишки как-то положили на дороге кошелек с верёвочкой. Уляша рукой к нему, а он лягушонком из-под пальцев — и тут же детский смех на всю улицу из густого придорожного травостоя. Стыда до глаз. На чужое позарилась. Шутка-то была не по ней. Пошла бы по дворам: кто потерял? На это тоже надо время, свои затраты иметь — кто обронил и по какому случаю? Своё дознание

Уляша провела, как полицейский: а какой кошелёк, какого цвета, сколько было денег... Врут же некоторые. Врут и смеются.

Не один раз Уляша находила что-нибудь интересное. Придётся бы, но как с этой чужой вещью жить? Выбросить — жалко. Носить на себе и с собой, хранить найденное, будто музейный предмет? А вдруг померещится что-то плохое? Не каждая вещь даётся миру с благодатью. Неизвестно ещё было, чья эта сотенка. Теплом она была согрета, с радостью кому-то подарена или швырнул её кто-то со злостью, обидой, оставив на себе какую-нибудь порчу. Приметила за свою жизнь: все предметы, животные, которыми пользуется конкретный человек, со временем становятся похожими на хозяина. Злой дядька, так злая у него и собака. Злость эта оседает на всём, как пыль.

Вот и сторублёвку кто такой потерял — с божьим промыслом или с чёрным подвохом? Не дано угадать узор с первого взгляда, а поднять надо.

Некуда деваться. Купюра всё-таки российская, с оттиском Московского Большого театра. Её просто-напросто требовалось спасти от потери, порчи как государственный казначейский билет.

Нагнулась всё-таки и подобрала сторублёвку. Давно она, наверно, лежала на солнце — потускнел цвет краски с одной стороны. Год выпуска, однако, читался без очков: 1997. Кому ты принадлежала, честно ли была заработана? Платочком протёрла хрустящий листок. В годы её молодости заработать 100 рублей — месяц надо было ходить в совхозную бригаду разнорабочей: грузила машины зерном, разгружала «камазы» с лесом, вершила в поле стога; сев заходит — кого на сеялку, кто пойдёт стоять в пыли? Уляша. У неё работа такая — куда пошлют. На стройках тоже считалась незаменимой: глину месила и обмазывала стены, кирпич да камень были по её рукам, а пенсию начислили и сказали: «по зарплате». Прибавку сулили вот с нового года...

Обойдётся Уляша без этой сотенной. Но раз нашла — кому-то же она принадлежала? Чужое ей присваивать — боже упаси.

Знала, как она копеечка достаётся своим трудом. Кто-то, может, потерю свою и не заметил в кармане, а другому — слёзы, жизненные затруднения. А Уляша вот нашла и кого-то может обрадовать, да и сама улыбнётся лишний раз на доброе слово. Больше ничего ей и не надо.

Напасть господняя на Уляшу: обязательно она что-нибудь находит, хоть из дома не выходи... Пошла теперь по всему кутку со своим «гнездом», вот прислонилась плечом к верее своих соседей:

— Эй, Душка, — кто-то там на грядках копался за штакетником, — ты деньги не теряла?

Во дворе тявкнула собака. Утки побежали к корыту из-под навеса, щекотали клювами по водной поверхности. Женщина приподнялась с грядки, руки вытирала о поддёвку, кудрями короткой стрижки тряхнула назад:

— А, Уляша... Чё такое?

— Теряла, спрашиваю, деньги?

— А сколько?

— Ды сто рублей. У вас вот тут, под вашим пряслем нашла... Иду — лежит, — и женщина показывала сторублёвку.

— Да не-е... нам сорить нечем. Нашла — так пользуйси...

— Да-а... кто-то ж, небось, горюет...

— Ну, не велика пропажа... не подписаны... А то ж гляди, сама и мусоришь.

— Шумни своей куме — не теряла?... А то чё я буду с ней делать, с этой сотней, будь она неладна... — не унималась баба Уля.

Через дорогу на соседнем базу вершила стог сена Полинка, соседка Дуси. Кто-то ей подавал вилами снизу охапки травы, а она укладывала её тюбетейкой, подбивала бока граблями, мелькая сверху прикладка белым флажком платья.

— Эй, Полюшка, Уляша сто рублей нашла, не знает чё с ней делать... Вы не теряли? — приставила ладонь к уху Душка.

— Ой, банка молока... Десять коробок спичек... Мы так: потеряли — не горюем, нашли — радуемся, — отозвался флажок сверху.

— Слыхала, ба? — спросила Душка. — Так что иди и не мордуйся: найти не грех. — И она от кого-то отмахнулась: — Будут знать, как оно терять...

Уляша обошла всех, кого знала. Отказалась от находки почтальонша, торгашка Зина так и разговаривать не стала... Кому ни постучит — вроде как все смеются.

К вечеру уж домой пришла, села за стол, очки надела и разглядывала сотенную. Все мысли о том, кто мог потерять и что теперь с этим богатством делать?

* * *

Солнце — к закату. Стучит кто-то. Звякнула щеколда, дверь открылась: Лёнчик вот он, вихрасто на голове и в голосе, ладони вперёд выставил:

— Баба Уляша, ради бога, займи сотню... Отработаю. Може, картохлянь вскопать, може, ишо чё... Отдам, я щас на шабашку иду, стряпку тут одним крою...

Уляша пользовалась услугами гостя. Ему главное — пообещать на выпивку, а он тогда готов — укажи только — в печь влезть и в трубу выскочить. На днях уголь заносил в сарай — летал, будто на крыльях.

— Ды что за нужда такая? Пенсию ещё не получала... — а сама видит: хорош уже парень. Веки глазные уж не поднимаются, нос — под цвет морковки, губа нижняя виснет... Уж на что-то бы полезное — отдала бы найденную сотню, а это, ясное дело, на пропой просит. Вспомнила жену Лёнчика — Нинусю, как та с продавцом в магазине сцепилась, Христом Богом просила: «Не продавайте моему, он чуру не знает! Все ему родня, всем он помогает, а мне от этого не легче...».

— Ульяна Ивановна, займи... Ну, хозяин поставил, выпили мы с дружаней... Кинулись ишо по рюмке за этую новую поветку, а наливать нечего. Кто ж меня теперь выручит? Ульяна Ивановна!

— Ну, где работал, там и занимай.

— Да-а... хозяин — куркуль ещё тот... Вот, говорит, закончите, тада будет вам и расчёт.

— Рада бы, Лёня, выручить,— хитрила бабка, — но нечем.

Лёнчик прищурился, съёжился, присел и упал на колени, раскрытым ртом тянул на выдох:

— Ну да-ай... отрабо-отаю... — скрестил руки на груди, голову склонил набок: — Ну, пожалста... Мне Полюшка сказала: нашла бабка Уляша сотню... Иди к ней.

— Ды милый ты мой, встань, говорю, встань! Стыдно так опускаться, — и она пыталась поднять Лёнчика под руки, а он же тяжёлый, как сто пудов.

— А мне не стыдно, мать, перед тобой вот так. Ты гля какую жизнь прожила... Сын у тебя хороший... а я так, трудоголик.

Гость сделал несколько шагов от двери на коленках. Уляша теперь поняла окончательно: он был «чисто пьяный», а дома жена, дети... Хотела сказать прямо: «Нинусе твоей за так бы хлеба дала, а тебе не к чему — дождиком на лопух побрызгаешь?».

— Мамочка, зямля ты моя родная, дай! Ну хоть пятьдесят рублей... — И Лёнчик сделал жалобные глаза, захныкал: — Мамулечка-а-а...и-и-и...

— Да ты понимаешь, что нет денег?! У меня тут чё, печатный станок? Ишь, расслонявился, а то щас тебе... Иде у мене кнут? — и Уляша глянула вскользь по стене, где на гвоздике висела нагайка мужа.

— Маму-улечка... — закрыл лицо ладонями Лёнчик и во-брал голову в плечи, как черепаха при опасности.

— И-и... «маму-улечка»... Сгинешь от водки — кому будут твои дети нужны? По миру пойдут. Не денег жалко — тебя. Семью твою. А у тебя же руки золотые!

Лёнчик ладони свои в шершавинах поднёс к глазам, уставился в них: в пыли от жести, чёрные от мазута со старыми шрамами от порезов, ушибов; большой палец на левой руке покорёжило куда-то в сторону — промашку дал молотом лет десять назад, а пальцы в суставах возле ногтей засушила наковальня, и теперь они были похожи на детские грабельки.

— Да? — удивился Лёнчик и заулыбался, косил голубым глазом и поднимал подпаленные брови. — Продаю. Купи. Они всё могут делать. — И он целовал свои ладошки и кривые пальчики.

— И-и... Лёнчик, Лёнчик... только в церкви на колени становятся... А у нас, у детей войны, думки были одни: как помочь фронту, как выжить. Не с рюмкой и пожеланиями, а в поле, на тракторе, в борозде, за станком... Вот была помощь! А нам теперь от твоих тостов не легче.

— Ну, дай похмелиться... да-ай...

Уляша не знала, что делать с гостем, как от него избавиться. Вспомнила: два дня назад приготовила она в трёхлитровой банке квас с тёртым хреном. Квас хлебный, под цвет браги, через марлю процеженный. К жарковью в самый раз, аж слезу выдавливает; хорош напиток для бодрости, отрезвления.

— На, Лёня, на... бражка вот своя, покупать не надо, — вручила баба Лёнчику со столика прихожей банку с полиэтиленовой белой крышкой.

«Золотые руки» обняли посудину. Гость встал с колен. Плёл и божился:

— Истинно, отработаю... Да я... во... м... ну... Чё надо, ба, шумни, сделаем!

У Лёнчика на груди в трёхлитровой банке плескался квас мучной настойкой; он кланялся, шмыгнул носом и без разговоров скрылся за дверь.

...Приходили два других «помошника»: дай, займи... Ночью тоже кто-то стучал, но Уляша дверь не открыла. Утром решила: на сотенной плохой навет, надо от неё избавиться поско-

рей. Плановала сначала так: в магазине купить пряников и раздать первому встречному, но пока шла — многое передумала. «Пьяная» сотня перейдёт на сдачу кому-нибудь другому, на добро не послужит. Все отказывались: не моё, не теряли; тянули руки лишь «лёнчики со товарищи». Бывало, не уважит кто-нибудь из хуторян «товарищам» Лёнчика — картошку выкопают ночью, калитку унесут в металлолом... Но она отроду никого и ничего не боялась, если по-правдашнему. К тому же сын на днях возвращался домой с морской вахты...

Уляша подумала-погадала, пока шла в лавку, и решила отнести на пожертвование в церковь эту самую сотенную. Если есть на ней грех, — снимется православной молитвой, словом божьим: во имя крепости духа, жизни будущего века.

Слева при входе в церковь она подошла к иконе Михаила Архистратига, перекрестилась с поклоном. Перед образами увидела урну для пожертвований с узкой прорезью. Опустила руку в кармашек вязаной кофты, а купюры нет... Шла от магазина, не раз рукой щупала в кармане: вот она, на месте, цела и невредима. А теперь хоп! — нету. По другим кармашкам туда-сюда рукой — пусто, жертвовать нечем. Боком-боком — к двери, по своему следу спешила с надеждой: сотенная выпала где-то на дорогу и ждёт не дожждётся свою свет-Ивановну.

Найдёт ли?

ТРАКТОР

...Вот и пришла весна: пышет, жарит солнце, трава лезет живьём, пригожим дышит со степи прямо в нос, щекочет, а у Петра всё внутри переворачивается: кочет прокукарекал, а там хоть не рассветай. Да, и он взял землю, взял... свой пай родной, что заработал в совхозе. А пахать-то нечем... Думал нанимать

издали, а пойдй теперь назад — шиш! Ушёл – всё, не приходи ни за чем в бригаду. Были все друзьями в хуторе, когда работали в одну суму, а теперь горшок об горшок, фермерство, единоличная жизнь вернулась...

Петро ушёл из совхоза безлошадным. Пять метров коровника отмерили из имущества, и всё. Как хочешь, так и фермерствуй. А в первую очередь нужен трактор, чтоб на земле работать. Легковая машина у него давно, а на трактор штанишки короткие, чтоб его купить. Когда-то он что-то продаст, наторгует, а пахать надо ехать сегодня, сейчас. Иначе всё, гибель. Земля за-растёт бурьяном А он же первым в фермерство клюнул; и документы на руках у него есть, и письма из налоговой уже пошли — плати за землю; из отдела статистики звонили — давай отчёт по весенним полевым работам, сколько чего посеяно... А оно-то ещё и не пахалось...

— Слухай суды, — сверкнул зелёной бусинкой в глазу старый дружок тракторист Егорий (а по-свойски — Жора), - ты погляди скоко чермета кругом валяется... Я всё думал себе скрутить тракторёнок, но мне с ним показываться нельзя: скажут сразу — наворовал в кооперативе... Ещё повяжут... А я тебе буду привозить запчастишки - ты и скрутишь трактор. Ну, естественно, надо мне понемногу приплачиваться... Всё равно в чермет продаю, что плохо лежит. Жить как-то надо, а зарплата, сказали, с урожая...

Петро долго не думал, фуражку сдвинул на затылок:

— Мне ба, конечно, «Белоруса» собрать... тяни на него всё, что попадётся под руку, а я согласен приплачиваться... Чем тебе в чермет сдавать железки, так ты лучше мне.

— В сам деле? — обрадовался Егорий. — Да я тебе завтра же на «кировской» тележке на полтрактора привезу всякого железа, — и он, прижмурив глаз, пальцем указывал, где что валяется: — В лесополосе, знаю где, кабина, а возле мастерской видал задний мост, корыто; там где-то, может, лопина — так за-

варить можно электросваркой... Покрышки БУ вон у каждого двора лежат, собирают их для люков водопроводных... Можно выбрать, и они ещё ходят! Блок, головку — это я тоже найду. Ежели в чермете покопаться... Э-э-э... чермет... золотая долина!.. И надо спешить, а то начальство сгрёбёт скоро всё — и в металлобазу.

— Помогай, Жора... Мне-то, уволенному, неудобно теперь лазить возле мастерской, в чермете, а тебе это жуй да плюй, свой человек. Надо, и всё. А ты грузи и вези. Буду расплачиваться за каждый кило. Тонны три железа в тракторе... Я те по три рубля оптом плачу за кило, а оно во-он куда тебе стрельнет — девять тыщ! Вот и доход будет!

И пошло дело, поехало. Что ни день — везёт Егорий колёса, поршни, выхлопную трубу, радиатор...

— Скоко? — спросит заказчик.

— Сто кг.

— На тебе триста новеньких, ельцинских...

— Не, — сказал в очередной приезд Егорий. — Железо подорожало...

— Ну, возьми четыреста... Мы корову продали...

Петя к запчастям присматривался: где-то что-то подваривал, подтачивал, подкрашивал. Вот уж и мотор собрал, и задний мост скатил к нему и взял на болты передок. Вместо топливного бака, правда, подвесил пока что трёхлитровую кружку Эсморха, для сиденья — пень-дровосеку...

Но не терпелось Петру: давай скорей пробовать заводить! За полдня тренировок он твёрдо научился крутить шнуроком шкив пускача... Вот он снова не спеша накручивает ремешок на колесо «кривого стартера», левая нога вперёд для упора... и резкий рывок на себя, к правому плечу... То переливает карбюратор, то не доливает... И не заводится. Испытывает в который раз: искра на свече белым высверком, бензин не кончился... Порвался кожаный «мотусок», сплёл второй...

В чём провинился пускач? Зажигание пораньше выставил. На шкив рука с устатку не торопясь наматывает шнур. Пальцем проверяет: узелок в прорези, аж три или четыре витка шнура легло в канавку пускового колеса. Бензиновый краник открыл, «подмагрычил» карбюратор кнопкой подсоса... О боже, что за изобретение — тракторный пускач с клеймом «Сделано в СССР». Его можно полдня дёргать, чтобы запустить двигатель. Но на этот раз Петру просто повезло. Помогла, наверно, продувка свечи. Дёрнул «мотусок» что было силы. Пускач заговорил редкими выхлопами. Наконец-то! Пётр быстрым движением руки нащупал на карбюраторе усик дроссельной заслонки, подал её в положение большей подачи воздуха. И пускач забарабанил с сизым дымком из выхлопной трубы так, будто пулемёт, набирая обороты, тут-то Петро и воткнул ему в привод весь тракторный двигатель об четырёх «горшках».

С трудом провернулись лопасти вентилятора, но, видимо, топливная аппаратура ещё не прокачала к форсункам солярку. Мотор с трудом прокручивался, пыхал в трубу колечками дыма, но чего-то ему не доставало для запуска. Петр, придерживая заслонку карбюратора, нащупал правой рукой топливный насос ручной подкачки, часто двигал пяточком вверх-вниз, сквозь уплотнительную манжету поршенька в ладонь ему прыснуло горючим, но он не обращал на это внимания, присматриваясь, прислушиваясь к нарастающему выхлопу из самого сердца двигателя.

Секунды, минуты казались вечностью. На трубе пускача уже чадило моторное масло. «Неужели что-то не то... не так собрано... Ну, давай, давай!...»

А дизель сопел поршнями, труба выбрасывала облачка сонно-белого дыма. С нагрузкой, с придыханием мотор едва справлялся с работой, жалуясь на безысходность своего положения: трах-трах-трах... Наконец, почувствовалось какое-то облегчение, увеличились обороты вентилятора, пускач затарах-

тел чаще и громче. В небо из трубы выбросило долгожданные кольца чёрного дыма, будто из неё выстреливали сажей. Мотор вздрогнул мелким ознобом, и прорвало! Вместо чёрного выброса из ржавого «гусака» искрогасителя прыснула струя сизой дымки. Двигатель зарычал ровно, будто танцевал чечётку: трах-тах так... трах так –так...

Пётр от радости подпрыгнул, показывал большой палец.

Егор, получив очередной аванс на запчасти, не верил своим глазам: Петро из его чермета собрал трактор. А мог бы и он сотворить такое чудо. Это же не корова, не бык, не лошадь, которых надо кормить и поить каждый день. Но что-то холодное из-под самого сердца прихлынуло к лицу: да, вот так же и сам мог бы... «и нехай бы стоял в сеннике до лучших времён».

А Петя смастерил из бросовых железок и плуг, и вот уж выехал со двора на пахоту. Пока ехал до своего поля, присматривался, прислушивался к трактору, но когда вырулил в загонку, опустил в землю плуг — сомнения отпали в надёжности его самоделки, и он запел: «Я всё умею, всё имею...». Пел что-то своё, не копированное, не подслушанное, и оглядывался назад на первую свою собственную борозду. Борозда эта рассекала поле надвое от лесополосы до самого горизонта. А вдали – степь взвихренная на все цвета под шатром светло-василькового неба, переходящего в матовую дымку, сливающую даль во единое очеллённое молодой свежей зеленью Придонье. И уже не разглядеть было мелкие домики вдали. Всё пышет, парит, цветёт, щебечет, боготворяясь солнцем, живительным запахом земли и чистым первозданным дуновением ветерка, заквашенного на прошлогодних травах чабреца и полыни, душицы и пырея.

В ярах цвёл терновник — по ямам бывших землянок раскулаченных выселенцев с ближайших хуторов во времена коллективизации. Но ничто теперь не страшило Петра. Он верил, что прошлое крестьянства не повторится. Он ждал этого часа, минуты, чтобы работать на своей земле. Вот так, с душой, свобод-

но, чтобы не просто жить, а жить и радоваться. И потому рождалась из глубины души своя песня, и пелось под аккомпанемент трактора: «Срока нет, срока не будет. Срока нет, срока не будет...»

Трактор споро шёл по непаханому полю с опущенным плугом; два корпуса валили в оборот выспевшую залежь чернозёма, опрокидывая в борозды прошлогодние, слёглые после зимы дикие травы. Плуг не глумил до предела, чтоб не перегреть мотор на обкатке. За лето ему придётся перепахать землю не раз, чтобы осенью посеять озимые.

А Жора – следом в поле. Вон оно что, вон оно как... пашет трактор,.. пашет «чермет», а без него, Егория, ничего бы не решилось. Это всё он! Не выдержал, в загонке остановил Петра:

— Может, ещё что надо? Слышь, у тебя не найдётся ещё сто рублей...

Есть деньги у Петра, так он без разговоров:

— На.

В ответ известное:

— Раздолжусь... Что надо — сделаю.

А как-то приехал Жора осенью, тёрся возле Петра:

— Можно бы и мне тракторёнок собрать... Надо огород вспахать, я же «Кировцем» не заеду... Дал бы мне трактор, а?

— Да бери. Мне им пока делать нечего...

Неделя прошла, вторая... а там уж и снег после Покрова выпал... «Ладно, пусть постоит трактор у Егора до весны».

* * *

Били дрозды в леваде на голый лес, как в колотушку: здорова была, весна! Надо уж ехать бороновать озимые... Петя — к Ягору. Возле его калитки аж в сердце кольнуло: нет трактора во дворе...

Жена Параня вышла на порожки, семечки плевала, в мобильный телефон пальцем тыкала:

— Нету. Поехал по делам... Он чё ж, собирал-собирал — и лысу-бесу под хвост отдал... Он нам, трактор, тоже нужен.

А Петро думал другое: «Господи, да что же это такое? Как жить, если не доверять? Всё под роспись, через нотариус, суд?».

На второй день Петр вновь приехал ко двору Егора. Нет ни Ёрки, ни трактора. Ёрка будто бы пашет в поле.

Петро — в поиски по полям кооператива, что раньше совхозом назывался. Учётчика с саженом на плече встретил, у того нос пистолетом:

— Жора? Да вот он на «Кировце»... на развороте... беги!

Петро рысью к трактору: точно Егор, из кабины жёлтого великана он высунул голову, язык показал, как лисавин.

— Жора, мне тоже надо пахать... — крикнул Петро.

— Чего-чего? Трактор? А он поломался...

— Где он? Надо же его ремонтировать!

По губам было видно: Ягорий ответил чем-то непристойным. У него, понимаешь ли, не было времени выйти из кабины и поприветствовать друга.

Жора, притормозив, дёрнул свой трактор в загонку, с ходу кинул восьмилемешный плуг в землю, из трубы — сизым хвостом гарь.

Петя мял в руке чернозём, соображая: «Ягор что-то мутит воду... По всему видно, не хочет возвращать трактор... Что теперь делать, Петя? «Белорус» не зарегистрирован на его имя... Как ему теперь доказать, что Петро не козёл отпущения?»

И во второй, и в третий раз Пётр не мог установить, где же всё-таки собранный им трактор. Но соседи судачили, будто прятал Жора колёсник в сенике под замком.

Петро стал думать, что же ему теперь делать? Выдернул лист бумаги из тетради в клеточку, шариковая авторучка — торчком:

«Председателю СПК... Прошу продать мне по оптовой цене металлолом, состоящий из вышедших из строя деталей, узлов и механизмов тракторов «Белорус». А далее приложил список

деталей: 1. Блок , № 2. Задний мост... 3. Диски колёс... Радиатор...» Четыреста с лишком наименований перечислялись в чермете мастерской...

С бумагой Пётр зашёл к председателю. Тот прочитал прошение, вызвал к себе в кабинет инженера.

— Что случилось? Сеялки с агрономом к зимнему хранению готовим...

— Слушай, давай продадим чермет... нам всё равно хлам этот сдавать в металлолом. Пусть выбирает сам, что надо, взвесите — и в кассу пусть оплачивает.

Инженеру с чёрными кустистыми бровями предложение показалось вполне приемлемым:

— И пятьсот рублей негде взять... Нам всё равно чермет сдавать.

Председатель живо выхватил из стаканчика авторучку и оставил на заявлении своё резюме:

«Оплатить в кассу за БУ запчасти по существующим ценам металлолома», — и расписался рядом с печатью.

* * *

Пётр и Егор сидели в кабинете участкового милиционера* не глядя друг на друга. Страж порядка и законности держал перед собой лист бумаги и, поглядывая на Егора, читал неторопливо:

«Уважаемый товарищ участковый... прошу восстановить справедливость: я, Пётр Иванович (такой-то), собрал трактор из запчастей, купленных в СПК*, доверился Егору Захарычу, дал ему свой трактор вспахать огород, но он мне его не возвращает, а мне тоже надо пахать, а он его присвоил и прячет у себя в сеннике... Прилагаю все документы на право владения трактором... номерной знак... на моё имя... поставлен на учёт в налоговой... в россельхознадзоре... дата...»

* СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив.

Участковый упёртыми глазами из-за листа бумаги смотрел уже на Жору:

— Так это, Егор Захарыч?

— Так, да не совсем так... — и напустился на Петра. — Запчасти-то мои были... Ты чё?..

— И есть документы на их происхождение?

— Хм... Из чермета ... какие документы могут быть?

— Понятно... Значит, во-ро-вал... Статья грозит, Егор Захарыч. Тут тебе и сокрытие чужой собственности...

— Как это?

— А вот так: у Петра Иваныча, пожалуйста, вот он список приобретённых запчастей... квитанция оплаты за подписью председателя...

— Как это? — и Жора, отвесив нижнюю губу, привстал со стула, вытянул шею к бумагам на столе участкового. — Какие у него могут быть документы?! Чудеса...

Егор Захарыч молча пожевал губами и что-то проглотил, носом клевал, как засыпающий ворон, а затем молча поднял глаза к потолку.

— Нам, конечно, придётся посетить ваше подворье, где вы скрываете чужой трактор... — постучал по столу карандашом участковый и добавил: — Знаете, это уже пахнет не одной статьёй...

Жора помолчал и вдруг встрепенулся, как ото сна: выпрямилась не только его спина, но и нос постепенно менял фиолетово-красный окрас с вислой щекой на белый.

— А трактор в неисправности...

— Посмотрим...

Егор подёргивал то правым плечом, то левым, мял что-то в ладонях, указательным пальцем потирал под носом, посапывая, покашливая. Нерешительно протянул руку к столу.

— Что за квитанции на оплату? — и посмотрел на Петра, задерживая взгляд на его лице с застывшей улыбочкой.

Листок бумаги подрагивал в руке Егора. Читал по писаному и терял дар речи: всё, что он привозил и продавал Петру, было в списке купленных им бывших «в употреблении» запчастей тракторного парка СПК. (После зимнего ремонта сельхозмашин многое что менялось на новое, чтобы в летнюю пору техника не подводила, работала без простоев. А «бэушное» выбрасывалось чаще всего на свалку, хотя некоторые агрегаты, детали в руках умельцев могли обрести вторую жизнь). И Ёрка теперь не верил своим глазам: в списке чермета, купленного Петром с оплатой в кассу всё было до гаечки, до винтика, что он привозил, – и даже кассовый чек оплаты там был прикреплён с печатью СПК и росписью председателя... Хмыкнул. Петро его обскакал, обхитрил, но говорить не решался о своей версии происхождения поставляемого Петру «чермета». И Ёрка соображал: надо было как-то менять ход встречи.

— Пётр Иваныч, я ж на работе изо дня в день... Я дома не живу... А «Белорус» вон он стоит... не заводится...

Участковый, опираясь локтями в крышку стола, покачивался вправо-влево:

— Что вы, Георгий Захарыч, как маленький, хотели нас ввести в заблуждение... Вам человек доверил трактор, а вы его, понимаешь, присвоили...

Егор выгибался вопросительным знаком, губа, как всегда, висла на мелкую щетину бороды, глаза упирались то в Петра, то в участкового:

— Я тракторист... Я за всю жизнь мог бы и себе на трактор собирать...

Жора из прямого, рослого мужика окончательно согнулся в вопросительный знак:

— Я тебе, Пётр Иваныч, возил запчасти? — нос к носу сошёлся с Петром.

— Егор Захарыч, за все твои услуги по доставке запчастей БУ я вам оплачивал... А стоимость чермета мной была оплачена в кассу.

— О, боже, платил... какие-то копейки несчастные...

Петро не мог молчать:

— Извини, может, что-то ты и привозил... крышку, помню, к топливному баку... А за всё остальное я внёс в кассу СПК. Вот, пожалуйста, читай, список запчастей БУ, накладная об оплате...

— Как? — ястребком поднимал руки-крылья Жора.

— Да так. Все твои запчасти были негодные. А тебе только и надо было — получить бабки. А теперь ты пропился, вспомнил... Как бы с меня ещё чего-нибудь взять?

— Так, Егор, поехали к тебе на подворье, будем разбираться на месте... — решительно встал из-за стола участковый, поправляя китель с погонами старшего лейтенанта. — Следуйте за мной.

* * *

Жора с неохотой открывал ворота сеника — и вот он, трактор, тот самый «Белорус», который собирал Пётр своими руками.

— Ну что ж, будем смотреть номер двигателя, рамы... — и участковый подсвечивал мобильным телефоном, где были заводские плашки с номерами и надписями. — Ну вот, пожалуйста, Егор Захарыч, всё сходится с техпаспортом... Смотрите, сверяйте... — и лейтенант зачитывал номера, а Жора сверял и ничего не мог понять: то, что он умыкнул в кооперативе, теперь по документам было продано Петру... — Ну, что, совпадают номера? Цвет кабины, капота — светло-синий... Так?

Егору Захарычу ничего не оставалось делать, как согласиться. Он хватал воздух открытым ртом и смеялся. А Пётр вытащил из сумки новенький номерной знак, выданный гостехнадзором, и предъявил его участковому.

— Ну вот, пожалуйста, трактору и номер присвоен, — с усмешкой кивнул Ёрке полицейский.

Жора кашлянул в кулак, глядя на Петра:

— Ха. Ты и номер успел получить?

— А как же трактор без номера? Я думал по совести, а теперь по закону.

— Умышленное сокрытие чужого имущества... можно получить срок... — копался участковый в своей папке, а Жора презрительно смотрел на Петра и большим пальцем указывал куда-то в небо.

Пётр отмахивался:

— Да ладно, простим... зять — нечего взять... А заявление я порву...

— Ну, тогда заводи трактор, мне без вас хватает работы... — сворачивал свою папку милиционер.

Петр — в кабину, выключил передачу сцепления, потянул рукоять ручного тормоза, молодцевато выпрыгнул из трактора, достал из кармана свой «мотусок», накрутил его на шкив пускача и, зажимая в правом кулаке привязанную к кожаному шнуру деревячку, резко дёрнул слева направо обеими руками. И в тот же миг пускач забарабанил, а вслед за ним бодро дрогнул мотор, пыхнув под шиферную кровлю сарая дымком.

«Живой, живой... — причитал Пётр. — Нам, главное, выехать, вырваться с тобой из плена... Наскучал? Ну, как же я без тебя? Нам теперь врозь никак. Поехали!»

Выруливая с база, Петро видел, как из дома на погудки трактора выскочила Ёркина баба. Она грозила костылём мужу:

— Пропил, поганец, трактор, пропил! Говорила же: иди, Жора, в фермеры...

С тех пор Петро с Ёркой перестали встречаться, но иногда Жора забегал в гости, по старой памяти присаживался к столику, доставал из нагрудного потайного кармана бутылочку винца, наливал в гранёный стаканчик до края, выпивал большими

глотками, клыкая кадыком, утирал губы ладонью, со свистом тянул кривым носом запах хлебного ломтя:

— Пятро, а ты меня с трактором всё-таки об...объегорил... — сверкали бельмы в глазах Егория и тухли. — А, ладно... Если не жалко, дай сто рублей, а?

Петя, добрая душа, соглашался и не отказывал в просьбе.

Судачили по хутору бабы: земляки простили друг другу обиды, как и мы, по писанию, должны прощать должникам нашим.

... Прошли годы. Петро и Ёрка ушли в мир иной. Попробуй их рассуди: кто был прав, кто виноват... А трактор, собранный из колхозного чермета, остался. На нём по сей день пашут, сеют уже другие фермеры.

КИСА

1

... Но вот урожай собран. Уже и первый заморозок, и первый иней выбелил осенние травы... Пора, дед, бросать бахчу, собирайся домой. Вот только кошечки не было... Последнее время она всё реже и реже появлялась в шалаше, и в конце концов совсем куда-то исчезла. Ванифатич обошёл все ближайшие подлески, звал свою Кису, но она нигде не отзывалась. Котята к осени тоже растерялись. Один попал под колесо «КАМАЗа» во время погрузки арбузов, второй понравился мальчишкам — выпросили, увезли, а третьего унесла то ли собака, то ли лиса. Так и уехал дед на своём «жигулёнке» домой, и всю зиму вспоминал с грустью:

— Жалко кошечку — пропала... Искал-искал — ни слуху ни духу. Что с ней случилось? Жива ли?

«А помнишь, кошечка была у нас? — спросит зимой старик у старухи и вздохнёт. — Пропала, бедная... Лето придёт, что я

буду делать без неё?» — и начинал вспоминать минувший сезон бахчевода.

2

Бережёного, говорят, и Бог бережёт. А тут речь не о ком-то конкретно, а про арбузное поле фермера Ильи Ванифатича. Он прошлым летом вырастил арбузы на клочке земли в четыре гектара без единой сорной травинки, плети зеленью устлали всю землю, а из-под них торчали полосатые бока эдаких валунов в десять–двенадцать килограммов. Арбузы уж начали спеть, но надо было повременить с продажей. Ванифатич резал их на испыткок; да, рано ещё срывать, надо ещё недельку, а возможно, и две выждать. А так бы хотелось поскорей на рынок, копейку раннюю выручить, вернуть затраты. А затраты складывались уже в тысячи. Пахал — по 30 литров солярки сжёт на гектар, весной бороновал, два раза культивировал, да семена покупал не дешёвые, а голландские; сеялки своей нет, так нанимал хуторянина; после всходов три раза полол рядки вручную, дважды культивировал междурядья... Это лишь со стороны кажется, что арбузы растут по щучьему велению; на себе испытал Ванифатич, каким трудом он достаётся, этот вожделенный арбузик, — сочный, сахаристый, только все почему-то хотят получить его за так: «Дай, дядя, угости...» А теперь вот ещё надо и старожить! Поэтому Ванифатич и жил в эту пору в шалаше. Работы хватало: полол сорняки, плети раскладывал, перевёрнутые ветром; ходил, корачась, стараясь на листья, на завязь молодую не наступать. Нет-нет — нагнётся к корешку, мотыгой вокруг растения землю надо рыхлить. Не утерпит, погладит своей чёрствой ладонью крутой бок арбуза, радуясь урожаю: своим трудом и умом выращено, своими ручушками...

— Ха, — скажет, бывало, глядя на арбуз, — поросёнок... Ты гля, какой поросёнок спеет...

А тут вдруг диво: самый крупней арбуз, а в нём дырка величиной с мышину норуку до самой спеющей сердцевины. И та-

ких порченных ягод Ванифатич насчитал не один десяток. Горевал старик, голову ломал, кто это портит урожай, и что делать? Стал присматриваться: рано утром и вечером на поле со стороны леса низко над землёй делал налёты старый ворон. Разглядел его бахчевник. Чёрный, аж со сталисто-синим отливом крыло, клюв, как у всех стервятников, горбатый, загнутым крючком вниз. Из этого клюва не выпадет ни ящерица, ни мышь... А толстую кору арбуза ворон пробивает в три удара! Кора ему не нужна, он её разбрасывает туда-сюда, а вот сладкая мякоть и семена ему по вкусу. Когда жара стоит над степью, ворон дышит открытым клювом где-нибудь сидя в тени дубняка, тут непременно у него одна мечта - утолить жажду, поживиться на хлявную спелую ягоду.

Сначала ворон, сидя на ветке ближайшего дерева, долго высматривает свой «урожай», чтоб наверняка и безопасно покушать. Удостоверится в безопасности — тогда и летит. Расклюёт арбуз – всё, он уже к нему в другой раз не явится; на следующий завтрак, ужин он непременно выбирает новую нетронутую делянку.

Что делать с прожорливым стервятником? А тут ещё второй, третий ворон появился... Кормиться летом возле бахчи – это их первое дело. Кто-то один из этих осторожных птиц выполняет роль наблюдателя. Сидя на сучьях старых деревьев, вороны время от времени «переговариваются»:

— Кр-р... — значит, всё спокойно, можно лететь на добычу.

Но вдруг вскрикнет:

— Ка-а-ар! — резко, испуганно, что говорит об опасности. Скок — и вороны, взмахнув несколько раз крыльями, — вон с бахчи низко над землёй в лесные зеленя, а вслед им стучал костылём по ведру Ванифатич. Что делать, что делать?.. Уж больше сотни арбузов расклёвано. И самая первая завязь! А клёванный арбуз никому не нужен, день-два — и прокис.

Ванифатич в расстроенных чувствах, едва не плачет. Сторожит–сторожит, а всё напрасно. Только он на одну сторону поля отлучится – вороны залетают с противоположной стороны и продолжают свою трапезу.

Конечно, пугнуть бы бахчевнику обнаглевших птиц ружьишком, но он не охотник. А тут стал замечать: сидят вороны наотдалке, встревоженно каркают, но не летят на бахчу. Что за приключение? Но вскоре понял: привёз он на бахчу кошачий выводок — за дедом по бахче бегала теперь кошка с котятками. Эта кошка по кличке Киса — настоящий гусар со своей важностью, значимостью в семействе; дама с белой грудкой, острыми ушками и зелёными фонариками раскосых глаз. Она в шалаше родилась в прошлом году, а вот теперь и у самой появились котята.

Ванифатич сообразил в чём дело. Присутствие кошачьего семейства на поле остановило дерзкие налёты чёрных птиц. Кажется, он нашёл способ защиты бахчи от птиц. Вороны сидели на деревьях, ждали своего часа, но по бахче бегали кошки, и птицы не решались лететь на кормёшку.

— Ка-а-ар! — раздавались гортанные крики птиц; куда бы зоркий птичий глаз не устремлял свой взор — всюду копошились в арбузной листве опасные для них четвероногие хищники. Хотя, в общем-то, котята и не подозревали, что своей игрой, кувырканьем в междурядьях посевов они несли сторожевую службу.

Бахчевник крепко сдружился со своими питомцами. Пойдёт он по бахче, а кошечка следом за ним, котята – за мамкой. Ванифатич арбузы в горку скатывает, кошечка – мышкует, в арбузных плетях перед норками полёвок засаду делает. То там, то тут приляжет, затаится, готовясь к прыжку. А котята уж и сами по себе промышляют по всей плантации. И всё это видят вороны. Посидят–посидят, каркая, и улетают в поисках безопасного пропитания.

Любимицей у бахчевника стала кошечка. Он с ней разговаривал как с человеком, не прочь был погладить её по спинке, а она в ответ мурлыкала песенку, укладываясь клубочком на его коленях в минуты отдыха. А когда дед копался в грядках, кошечка с разбегу вскакивала Ванифатичу на плечо — и так ей нравилось кататься, впиваясь коготками лапок в одежду, что её с трудом приходилось снимать.

Котята уже стали взрослыми, но им всё ещё хотелось играть, как маленьким детям; часто они предметом забавы использовали свою мамку: прыгали на неё, топтались по ней, игрались с её хвостом, норовя вцепиться в него зубами.

Киса поначалу терпела шалости детей, но вскоре они стали раздражать её. Кошка фыркала, отбивалась лапкой, а то и всеми ножками, отбрасывая от себя надоедливых котят, мол, что вы тревожите старую мать, вы уже взрослые, самостоятельные, живите и учитесь добывать пищу сами. И после этого Киса старалась подальше уйти от своих воспитанников. Ей почему-то хотелось теперь больше спать и находиться наедине где-нибудь в тенёчке. Её звали к шалашу, но она приходила с запозданием... А ближе к осени всё чаще не возвращалась по вечерам к своей миске под столом — напрасно звал её Ванифатич.

Поблизости в дубовом лесу в тот год удался урожай на жёлуди, мышки ночами шуршали в листве, затягивая их в норки с поверхности земли, и потому они становились лёгкой добычей зверьков и хищных птиц. Так что и нашей Кисе спешить к шалашу всё чаще отпадала потребность... А осенью она и вовсе пропала. Ходил, искал её Ванифатич, но кошечки нигде не было. Так и уехал домой с первым заморозком с чувством невосполнимой потери, горюясь: «Жалко, Киса моя пропала...»

3

...Весной дед вновь посеял арбузы. Ходил он и приговаривал: «Э... а вот кошечка пропала. Вороны сидят уже, кричат...».

Всё лето в работе. Вновь дед своим старанием выходил посева: полонил и рыхлил почву в рядках, поливал каждый росток из кружечки... И снова бог дал урожай. Пришло время собирать ягоду, но на плантацию зачастили дикие кабаны, а вот от них потери поболее, чем от воронов. Что делать? Надо сторожить... Кота рыжего, похожего на льва в миниатюре, выпросил он себе у соседей, собачку возле шалаша привязал... Всё-таки не один, есть с кем по душам говорить, есть с кем дружбу водить: чуть что — подаст дворняжка голос — охрана не спит, а кот всё спит да спит, не то что была Киса...

Где-то уже в середине августа, когда первая завязь ушла в продажу, Ванифатич в сумерках прилёг на топчан в шалаше. Весь день он скатывал арбузы, раскладывал по весу, по сорту, чтоб угодить покупателям. Хотелось расслабиться, дать покой натруженным рукам, пояснице, подумать, что завтра решать с урожаем...

А тут вдруг в тишине за стенкой зарычала собака, с разбегу рванула цепком. Кот вспрыснул где-то под топчаном, стремглав выскочил из шалаша — и на крышу, запеснячил мартовским супружеским тоном, как заводная сирена, царапая толь кровли, будто старался отогнать от себя какого-то непрошенного гостя.

Ванифатич вскочил со своих «палатей», включил карманный фонарик. Непонятно ему было: что могло потревожить животных? От собаки и кота передалась тревога и старику. Будто и опасаться в его возрасте было нечего, а вот поди ж ты, насторожился. Прислушался он, задерживая дыхание. А вдруг это какое-нибудь наваждение, — лешие там всякие, домовые, — чем защищаться? Костьюликом? Пошёл вокруг шалаша с фонарём. Нет никого. Тихо и на поле. Слышно лишь издали — бьют напоследок перепела: «Спать пора, спать пора!»

На следующий вечер всё в точности повторилось. Едва стемнело, взбесился котик, выгибая спину дугой, кричал с пережёвыванием: «А-а...яй яа-а-а яй... аа...» — и в гортани его пе-

рекатывались высокие тона то ли для предостережения, то ли в качестве протеста, а у старика от этого вопля невольно поднимался на голове волос. К тому же и собака начинала скулить и грести лапами землю, давая понять: кто-то на подходе к шалашу — человек ли, мифическое существо? Но никого вокруг не видно.

Прожектор фонарика освещал всё вокруг шалаша настолько ярко, что спрятаться кому бы то ни было не представлялось возможным. Но что-то же приводило в бешенство котика, собаку... Явно же кто-то или что-то. Но ответов не было, хотя тайна посещения шалаша каких-то потусторонних, враждебных сил была налицо. Кто-то незримый ходил рядом и приводил в возбуждение домашних питомцев, доставляя тем самым старому фермеру неприятность.

На следующий день Ванифатич решил с вечера возле шалаша устроить засаду. Под яблоней-дичкой у него стоял стол с врытыми в землю ножками. Он влез на него, вместо сиденья подложил под себя чурку и замер с фонариком в руке.

С минуты на минуту сумерки сгущались. Где-то в лесу покрикивал филин: «И-и-и...». Собака и котик не подавали о себе никаких признаков. А когда уж совсем ничего не стало видно, кроме звёзд на небе, Ванифатич вдруг заметил на белесой полосе песчаной дорожки какой-то движущийся серый мячик. Он бесшумно двигался в темноте к столу, и совершенно невозможно было понять, что это.

Мячик остановился напротив стола. И тут же фыркнула и рванулась собака, мякнул и заголосил кот, как и прежде. Может, это была ведьма, о которых Ванифатич был наслышан в детстве. Хотелось, конечно, дождаться, что будет дальше с этим видением. Он почувствовал, как на руках и на голове наершился волос и перехватило дыхание. Глаза упёрлись в дорожку. Ванифатич чувствовал, как от перенапряжения зрения покати-

лась по его щеке слеза. Смахнуть бы её ладонью, но это значило бы выдать себя в «засаде».

А серый комочек в сумерках продолжал тихонько двигаться по дорожке к столу. И Ванифатич не выдержал. Раз! — и придалвил кнопку фонарика, направляя луч в то место, где он только что видел серый движущийся клубок. И тут же стало ясно: то была кошка...

Старик впулился глазами в гостью: не верилось, явилась его любимая кошечка, потерянная в прошлом году...он её угадал. Но что с ней случилось?

— Киса, да ты ли это?..

Кот-приёмьш по-прежнему задавал своё злое пение, собака гремела цепью, рвалась к дорожке, пробуя привязь на прочность. А Киса присела на лапки, прижалась к земле, ослеплённая неожиданным светом. Старик, кряхтя, опустился со стола, не сводя с дорожки луч фонарика, погладил кошечку по спинке. Его пальцы прощупывали гребень позвоночника, прощупали каждое рёбрышко; Киса была настолько худа, что, наверно, прятаться у неё уже не было сил. Все эти дни, выйдя из леса, она тянулась к миске с едой. Она так давно не ела хлеб с картофельным супом... Запах стола манил её к шалашу, но больше всего голос хозяина, воспоминания о его ласковом поглаживании рукой от головки до хвостика.

Да, она узнала голос Ванифатича, хрипло мякнула, будто жалуясь о своём пережитом времени в зимнем лесу.

Прочь сомнения: она ли это, пропащая Киса? Белая грудка!.. «Да она же, она и есть!»

— Ки-са... Ки-са-а... — Ванифатич, не выключая фонарика, взял на руки кошечку; она была легка, как пушинка. — Ну, что же ты, милая, где пропадала? Неужели весь год одна в лесу выживала?

Старик гладил её по спинке, пальцы, казалось, прощупывали не рёбра, а стиральную доску. Старик под светом фона-

рика разглядывал лапки, ушки. По всему телу Кисы — неухоженность, рваные проплешины. Пальцы находили шрамы, на ушных раковинах струпы на месте недавних ран, полученных в схватке с неизвестными зверками. «Ну, молодец, пришла... А я тебя искал, Киса... но ничего, поправимся... Вот тебе и привидение...» — верещал старик весьма довольным голосом.

В шалаше Ванифатич зажжёт большой фонарь «летучая мышь» и перед кошечкой поставил тарелку с тёплым ещё с вечера супом. — Ешь, моя хорошая, ешь...

Киса лакала угощение, старик всё ещё рассматривал её, покачивал головой: вспоминались красивые конвертики кошачьих ушек, а теперь они во многих местах белели пятнами на месте давних ран, а на мордочке и грудке были видны следы от былых рубцов, на которых уже не росла шерстка, и потому кошка ещё более походила на несчастное живое существо. «Но как она могла выжить в зимнем лесу, в степи? вдали от человека? И выжила, и пришла, Киса...»

— Ну, как же так... Что нас разлучило? Одна кожа и кости... — слезились глаза старика.

А кошечка чуть-чуть поплакала и подняла головку, всё ещё угадывая, наверно, своего Ванифатича. И вот уже она лежала на тёплой руке, и её поглаживала ласковая ладонь, отчего хотелось мурлыкать и спать, прикрывая рваные ресницы век, — как же долго она мечтала в старых дуплах, на сучьях дубов и караича о своём возвращении в человеческое жилище...

Все три дня подряд она пыталась подходить к шалашу, но почему-то новые жильцы встречали её недружелюбно: и собачка, и какой-то незнакомый агрессивный кот... А это же был её домик, она здесь жила... но плохо знала лесную обитель, ушла ещё по теплу прошлым летом, влекомая шуршанием мышек, и думала, что райская жизнь под ветвями столетних дубов будет вечной, и она успеет вернуться к своему шалашу, где всегда будет суп или хотя бы кусочек хлеба. Но она зашла так далеко, что

зима застала её врасплох, а мышки спрятались глубоко в норки и зимняя дорога из лесу затерялась, заблудилась...

Так и осталась Киса в лесу среди деревьев. Изредка подкрадывалась она к мелким зимующим птичкам, научилась выгребать из-под снега и пней мышек... Но это ещё не всё. Борьба с голодом усложнялась жестокими схватками с куницей, которая всю зиму преследовала её с одной целью: разорвать и съесть. Таков закон дикой природы: в зимнюю пору в лесу выживает сильнейший.

Киса сражалась. Она не могла прыгать по веткам так, как куница, но была проворна не меньше её. Защищали когти лап и не менее острые зубы. Сражалась и искала дорогу домой, к своему фермеру. И вот, наконец-то, нашла... вернулась...

...Утром Ванифатич проснулся, и вновь на него навалилось огорчение: Киса, которую он так долго ждал, была мертва. Он взял её на руки, долго ходил с ней вокруг шалаша, как с ребёнком на руке, затем положил её в коробку из-под конфет, выкопал лопатой глубокую ямку под соседним дубком и, встав на колени, опустил упаковку на самое дно. Ладонью загребал песок и всё приговаривал:

— Всё-таки пришла, пришла, моя ты хорошая... Господи, прости, не доглядел...

ЧТО-ТО БОЛИТ...

Ветеринарный врач проснулся с какой-то немощью. Вчера он ездил по вызову лечить бурёнку у одних тут на хуторе в личном подсобном хозяйстве. Коровку раздуло, как бочку, и он сразу понял: тимпания, надо пробивать троокарром левый бок, чтобы в первую очередь спустить газы, дать животному облегче-

ние, а потом уж заливать ей в желудок антибродильный раствор, в рот через зонд – слабительное. И так он лечил и лечил...

Об одном лишь спросил у хозяев перед началом своих действий: «Чем кормили?» — «Кукурузной зелёнкой...» — «И много давали?» — «Да мешка три, густая такая уродилась, початки выбросила... Своё вырастили, всё, может, молока прибавит», — торопливо отвечал хозяин. «Ну, что ж, молодцы. А потом коровку напоили... Ая-яй, яяй...» — комментировал дальнейшие действия хозяев ветеринар и надевал синий халат, открывал ящик с инструментами и лекарствами. А теперь пучит и самого...

К обеду вроде прошло, но заболела поясница. И в голове шумело. Взял стакан – рука трясётся, стекло по зубам стучит. «Может, позвонит кто на вызов... Можно будет проведать и коровку...»

И на второй день то же самое. Хандра, где-то что-то ноет, что-то пучит... А сам же знает: нельзя запускать болезнь, надо своевременно лечиться. Долго не решался, сомневался: как это он, ветеринарный врач, пойдёт к медицинскому врачу? Но однажды утром, стягивая на животе рубашку пуговицами, решил однозначно:

— Надо идти, Петя. Надо!

Вот он и пошёл к терапевту, а к терапевту очередь. Но рядом дверь к хирургу. Какая разница? Тоже врач и тоже должен он во всём соображать. Это только у медиков такое разделение по профилям, а у ветеринаров всё в одном лице: и хирург, и терапевт, и гинеколог...

На двери прочитал надпись: «Забурунный Илья Спиридонович...» — и даже обрадовался: «О-оо, так я ж у него собачку лечил. Свой человек.» — И он уверенно открыл дверь в кабинет, помогая её толкать коленом.

— А-а... лёгок на вспомине, — встал со своего стула Илья Спиридонович и протягивал руку своему давнему знакомому. — Помню, как же не помнить?..

Ветеринар и вовсе разомлел от дружеского приёма: улыбался с лёгким поклоном, прикладывал ладонь к груди, где у него всё ещё стучало сердце.

— Всегда пожалста, к вашим услугам... Я же теперь главный ветеринарный врач... Стаж, понимаете, опыт...

Хирург в белом халате скрестил на животе руки, голову держал с отлётом назад.

— Помню, помню... вы тогда против чумки прививали, потом кастрировали кобелика моего...

— Да-да... — кивал головой ветеринар и не сводил глаз с Ильи Спиридоныча, готовый обнять его и расцеловать. — Это я, я...

— Вижу. Спасибо. Удружили. Собачка моя тогда пала после вашей кастрации... — и немигающие ресницы глаз хирурга расширились и медленно смежёвывались, выражая презрение.

— Да вы что?.. — присел ветеринар и с его лица сползала улыбка. — Не может быть...

Хирург убрал с живота руки и перевил их на груди.

— А я говорю: пала. Я ж тогда вам ручку не позолотил, сто грамм не налил...

— Да вы что? Да ни в коем случае...

Ветеринар ждал ответа, притих и молчал. А хирург прошёлся взад-вперёд по кабинету. Сутулясь и часто поглядывая на пациента, губы его немо что-то проговаривали. Остановился напротив. Руки – за спину. Привстал на носках, покачивался, шевелил губами, будто что-то дожёвывал:

— Ладно. Дело прошлое. Я вас слушаю, – и хирург вернулся к столу.

Ветеринар поёжился, помялся, но собрался с мыслями:

— Знаете, болею... Что-то болит... Утут... тут... Вроде проходит, а на другой день снова...

— Вы поподробней... Когда появились первые признаки? Колющие, ноющие боли? Что принимали, как питаетесь, какой стул...

— Знаете, у меня живот... пучит... Питаюсь как обычно...

— Живот... пучит... — и врач уже писал что-то и не смотрел на посетителя.

— Пучит... и ещё как пучит! — и вдруг осмелел, гордость за свою профессию проснулась в нём, с жалостью, с переходом в плаксивый тон продолжал: — Вы знаете, Илья Спиридонович, когда я лечу корову, она же мне ни гу-гу: где у неё и что болит. А я лечу, я сам соображаю...

Врач продолжал писать и задавать вопросы:

— Грелку прикладывали? Горчичники?

Ветеринар сделал короткий шаг к столу:

— Нет.

— Попробуйте.

Посетитель присел в поклоне и резко кивнул головой к полу:

— Ага.

— ...И вот эти таблетки попьёте. В аптеке вот тут рядом купите, а в другие не ходите, там они плохие. Не поможет — составим акт о выбраковке — и на бойню.

— ?!

...Ветеринара вывозили от Ильи Спиридоновича на кушетке «скорой помощи». А пока его транспортировали, он всё же одним глазом подсматривал: куда везут, нет ли рядом хирурга?

ДЕНЬГИ НУЖНЫ

На юге России вспыхнула африканская чума свиней, о которой забыли уже в стране, что это такое. Но вспомнили: вирус это, лечение не разработано. Одни говорили, что она пришла из Чечни, когда там шла война после распада СССР, другие — из Грузии... А первые трупы диких кабанов находили в придонских лесах охотники... Как ответные действия, на дорогах воз-

никли санпропускники с опилками. Там, где на крупных фермах регистрировали чуму свиней, всё подлежало сожжению.

Запрет на свиноводство: ни продать поросёнка, ни купить. Ветеринары с участковыми полицейскими — в обходах по дворам, с предписанием: немедленно избавиться от хрюшек. Шли, шли по хутору от одного подворья к другому — и пришли к Маркею:

— В похозяйственной книге у вас три поросёнка!

Дядьке в шортах, в соломенной шляпе деваться было некуда:

— Есть такое дело, живы-здоровы пяточки... прививки делали от рожи...

— Рожа — это цветочки... — сказали ветеринары в синих халатах. — А чума... слышал? Нет, да?.. Так вот, от неё падёж — стопроцентный. Советуем: нынче же забиваешь своих поросят — и в холодильник. А ежели оставишь на базу — приедем и постреляем, а тушки сожжём. Так-то... и оштрафуем к тому же!

Маркей за голову схватился: собирался на днях продать свиней, а всё тянул резину... вот и дождался. Бей, и всё. Долго ходил, думал: что делать? Оно, конечно, хороши окорочка с хренком, а ему деньги нужны... Продать бы, но кому? Дело теперь подсудное. Одно слово: карантин!

Шёл Маркей мимо старого погребца в саду... Остановился. «А может, в погреб спрятать поросят?.. Там их никто не увидит и не услышит... Месяц-второй — глядишь и беда пройдёт, а у меня вот она — свининка ... Деньги-то нужны!

Ночью при звёздах спихнул Маркей поросят в погреб, вентиляционную трубу приспособил для слива в корыто помоев, соломы в подвал набросал, лаз застелил досками и всяким хламом для конспирации. Живите, хрюшки, и не бойтесь чумы, а паче всего ветеринаров и полицейских.

Приходили контролёры, проверяли у Маркея наличие живности: пустой двор, пустые базы... А порося тем временем прекрасно чувствовали себя в подземелье. Ни хрюка от них не

слышно, ни запаха. Живут они себе в подвале и горя не знают: на белом свете жара, солнце печёт, санкции всякие, а у них, в закуте, — прохлада, тишь; поели — и на бок, поели — и на бок ... Кругом чума, а у Маркея — привесы растут.

Два-три года назад птичий грипп нашествие делал. А теперь какая-то чума грозила новыми убытками. Кто смирится с этим? И Маркей подсчитывал теперь свои затраты: за каждого поросёнка заплатил он по три тысячи рубликов, корм покупал, варил кашу изо дня в день на газовой плите по пять — шесть вёдер каши. Ежедневно на корм выбрасывал он из кармана по столынику с лишним, не считая затрат на электричество, газ. Множил на тридцать дней — вот они три тысячи, за десять месяцев доращивания — 30... А теперь ждать ещё два-три месяца до окончания карантина, пока на дворе не подморозит. И неволью хозяин призадумывался: «Да-а-а... Но поросята растут, набирают вес!»

На этом арифметика Маркея заканчивалась, и оставалось только мечтать. Напротив погреба, под навесом беседки с виноградной лозой, занял он место с женой за столиком, ждут не дождутся, коротая свободное время, когда карантин закончится, да одно знают — планировать доходы, покупки...

— Так вот, Галина Александровна... — раскладывал на столе домино Маркей и играл сам с собой. — Сохраним мы поросят, а как только карантин снимут — продадим. Представляешь, поросят ни у кого нет, мяса — дай, а мы вот... тысяч по 12 возьмём за каждого живую.

— Ой-ёёй... — прикрывала жена рот ладошкой, — и куда мы деньги девать будем... Марка?

Муж мечтательно смотрел вдаль:

— Купим тебе шубу...

— А ты говорил: покрышки на колёса нужны...

— И колёса купим, а что? Если даже по девяносто рублей за килограмм живого веса ... а в каждом уже сейчас не меньше сто двадцать ... Ну-ка, прикинь, где у тебя калькулятор?

Галина, раздувая спадающий на лицо волос, тыкала пальцем в счётную машинку:

— Знаешь, на двенадцать не тянет... По десять с лишком — точно.

— Ну, по десять...множим на три... тридцать тысяч. Что — не деньги? Дык ишо два-три месяца подержим, привесу возьмём... Не, под сорок тысяч выручим!

— Да ну...Тысяч на тридцать пять хотя бы...

Так они сидели, планировали изо дня в день, подсчитывая выручку: покупали шланги, современную теплицу, металлопластиковые окна, компьютер, навигатор, стиральную машину, ковры, дойную козочку, комнатные тапочки... И далее можно было бы продолжить список, что хотелось бы приобрести молодой уже супружеской паре, занятой своими благими намерениями. Они мечтали утром, днём и даже ночью в постели, и при этом часто спорили, что именно следует занять в первую очередь, а что может подождать, и часто споры при несовпадении мнений, планов, названий предполагаемых покупок доходили до скандалов. Ссоры заканчивались тем, что супруги из-за непонимания интересов разбегались по разным углам, но вскоре мысли о предстоящем общем доходе вновь сводили их вместе. Они сближались нос к носу, кормили через трубу поросят, прислушивались к довольному хрюканью своих питомцев под землёй и вновь шушукались, хихикали, что-то считали на бумаге, множили какие-то многозначные цифры и вновь перечисляли покупки, которые они собирались приобретать незамедлительно, как только продадут поросят: шланги, современную теплицу, металлопластиковые окна, компьютер... дойную козочку... вентилятор, люстру, сапоги...

Так шли дни, недели, а под завязку третьего месяца наконец-то дождалось объявления: «Карантин снят!». И как только эта весть дошла до Маркея, он побежал к телефону и стал звонить

по объявлениям «Покупаем свиней». Первым ответил, судя по акценту, иногородний поселенец:

— Да, покупаем свинэй ... Куда ехать?

Но Маркей, подержав трубку, промолчал: дёшево! Опустил трубку на аппарат и позвонил по второму номеру:

— По объявлению... Хорошие у меня порося! — не без гордости в голосе хвалил свой товар Маркей, слыша родной южно-великорусский говор.

— Ага, покупаем! Я — Доня! Меня весь район знает... Я что, свою репутацию буду терять? Я — Доня, — повторяю ещё раз... — ответили с дребезжанием в трубке.

— Сколько голов? А целых три! — в ответ Маркей.

— О-о... Да вы герой! — отзывался голос человека, слегка гнусава в нос и продолжал прокачивать слова под ударением — Мы ва́ши покупатели. Да, мы...

— А почём? — интересовало Маркея в первую очередь.

— Да мы посмотрим упитанность, вес... И скорее всего прибавим выше, чем было до карантина. Ваш адрес? Деньги платим наличными. Вам нужны деньги?

— Да как же не нужны?! Для того и растили, затрачивались...

— Ну, хорошо. Ждите нас, сейчас приедем, — обнадёживал в трубке голос молодого человека.

Маркей от радости потирал руки.

— Ура! Мы выиграли. Ура! — и при этом набросился на жену, обнимая её, целуя, — податливую и скромную в своих эмоциях. Наконец-то... пережили Маркей с Галей карантин, поросят сохранили...

— Ну, слава богу... руки развяжем...

Маркей выскочил из дома к калитке, распахнул двери, подставив под неё попавшееся под руку пустое ведро. Собачка, привязанная возле порога, жалась к ногам хозяина, ложилась на спину и виляла хвостом. Маркей тут же отцепил поводок от буд-

ки и увёл дворняжку подальше от калитки, чтоб не пугала покупателей.

А покупатели уже ехали по улице на внедорожнике с прицепом, прицеп гремел железными бортами, подпрыгивая на ухабах, а в нём стоял в полный рост человек в матросской тельняшке, с рыжей небритой щетиной на лице и мрачным взглядом. Тележка с бортами из пруткового железа в человеческий рост давно была знакома жителям станицы и окрестных хуторов, её приближение узнавали по грохоту, по визгу перевозимых свиней даже тогда, когда видимость была нулевой. Вот и теперь слышал Маркей с порога своего дома звяканье, стук бортов приближающейся тележки и спешил к лазу в подвал, разбрасывал солому, доски, открывал дощатые двери, приговаривая:

— Дождались, дождались... живые вы там, хрю-хрю?

Поросята из темноты поднимали головы вверх, к свету, розовыми пяточками водили из стороны в сторону, хватая свежий воздух, шурясь от света сквозь свисающую на глаза белую щетину. Они отвыкли от света, их охватывал страх и непонимание, и потому они стояли в напряжении и вздрагивали, будто от холода.

Маркей с хворостиной нырнул в проём двери — и в тот же миг все три свиньи с оханьем, прыжками выскочили на выгульный баз и замерли в ожидании своей дальнейшей участи.

Громыхание тележки закончилось напротив дома Маркея, и молодой человек в белой рубашке прямиком шёл к базу с ёжиком коротко стриженного чубчика, хищно водил синюшной горбинкой носа по сторонам, помахивал в руке верёвкой. Его все знали и звали по роду его предпринимательской деятельности: поросятник Дonya.

— Звонили? Мы приехали. Собака есть, привязана? — шёл человек во двор, как у себя дома.

— Привязана, собачка привязана...

— Ну, так где ваши порося? Может, купить-то нечего...

Маркей указывал на трёх брюхатых пяточков с залежными боками, а те слепо прислушивались к человеческому говору, уткнув носы в землю и развесив уши.

— Ну, смотрите, килограмм по сто сорок в каждом... Мы чё ж, полтора года их держим... Мы их весной думали продать, а тут зараза эта... А деньги-то нужны...

— Да-а, изобретатели вы, однако... в погребу прятать свиной... Мо-лод-цы —ы... — и молодой человек с верёвкой обернулся назад к подошедшему в тельняшке напарнику, моргнув тому глазом:

— Да не-е... по сто кило не будет в них... Ты, батя, не загинай... Я на глазок вижу, какой живой вес... — и хмыкнул, шмыгнув носом, обращаясь к тельняшке: — Лёня, сколь мы их лет с тобой возим?

— Да уж лет десять... — скоро отчеканил небритый напарник.

— От, понял? — указал Маркею чубчик пальчиком с понятием восклицательного знака.

— Давай грузить поросят в тележку — и на весовую. По сколько положишь за кило? — хозяин так это (грудь вперёд, плечи назад). — Я ниже двухсот рублей отдавать не буду...

Продавец выпячивал губы вперёд, будто собирался произвести букву «у», уставился немигающими светло-пепельными глазами в покупателя.

— Где ты сейчас весовую найдёшь? Ни одна не работает. Мы замером определяем вес, — и тельняшка спешно снимала с руки витки верёвки.

Тихонько, короткими шажками, играя талией вправо-влево, к базу следом за «матросом» подкралась женщина с вытянутым худым лицом и покрашенными синькой морщинами под глазами. Она оглаживалась по сторонам, изучая подворье, содержимое загона, ёжилась в джинсовую курточку, сверкая дешёвым кулончиком на груди.

— Ой-ёй, что они такие мазные, ваши свиньи?.. — спросила она, не глядя на хозяина, и тут же уточнила у Дони: — Что он за них просит?

— Лёля, по двести просит за кило... — ответил тот, плюнув на сторону.

Девка рассмеялась и показала пальцем у виска.

Гость в тельняшке посмотрел на свиней, передёрнул плечами, надул щёки пузырьём, тянул устало:

— Цена как была, так и есть по девяносто...

— Да не-ет, ребята, цена теперь будет выше... Карантин прошёл, свиней извели... Иё сейчас — мясу-то — дай, а нет... Так я буду ждать, кто даст дороже... — сделал Маркей шаг вперёд—назад вдоль изгороди база.

А женщина пошла по дорожке, разглядывая цветы на клумбах. Нагнулась над сентябринками, тянула носом в себя воздух:

— Фу-у... что у вас за цветы... это же ужас... такие тяжёлые... выращивать... Пойдите поглядите... — и мужчины всё внимание обратили к ней. Все трое уткнулись в клумбу, будто забыли о цели приезда.

Маркей уже стоял на базу. И ему как-то неловко и неудобно сделалось одному; покупатели, видно, давали ему возможность подумать, взвесить свои условия продажи. Сквозь стекло оконной рамы он видел только свою Галю. Она лбом упёрлась в поперечину, немо наблюдая за происходящим во дворе. Всегда, когда увозили со двора поросёнка, она убегала в дом, закрывая глаза и уши платком. Но теперь-то поросёнка не собирались резать, их продавали живую, а уж дело покупателей — самим решать, как их выводить, увозить... И без поросячьего визга — ну никак не обойтись.

Маркей махнул жене рукой, давая понять, чтоб она шла к нему на совет, но та движениями головы показывала «нет». Муж энергичней махнул супруге во второй раз: иди сюда, мол, твоя поддержка нужна... А жена снова скорчила недовольную

гримасу, пальчиками показывала на свои уши и резко отмахнулась, зашторивая окно занавеской.

Хозяина будто что-то укололо: «Мне это одному што ли надо?!» — и тоже отмахнулся рукой в ответ, а сам к покупателям:

— Так, ребята, вы чё сюда приехали, цветки разглядывать?

Гости не спеша, принохиваясь к сорванным сентябрикам, возвратились к базу.

— Ну, вот так: сам ты видишь: поросята занужоные, на них одной грязи по двадцать кило... По девяносто — возьмём... Ну, щас замерим, по сколько выйдет... деньги — вот они, — хлопнул себя по карману Доня, — щас расчитаемся... Весовая со-вхозная одна осталась, да и та нынче не работает... а мы за-мером. Знаешь, это абсолютно точно, — поглядывал на хозяи-на главный, помогая своему помощнику распутывать верёвку с металлическим тросиком на конце, выказывая при этом дро-жащими руками спешку и какое-то раздражение, — ну, может, на два-три кило мы ошибёмся... нам же тоже не хочется прого-реть, а вам деньги нужны...

— Иначе не может быть: покупаешь — плати! — резко от-вечал Маркей. А Доня присматривался, как продавец с каждой минутой всё больше хмурил брови и отворачивался в сторону с меркнувшим взглядом.

— А раз так, чего ждём? Давай обмер делать, поглядим, куда оно выстрельнет.

Маркей высчитывал что-то в уме, на занавешенное окно ещё раз глянул и сделал отмахку ладонью, как от налетевше-го шмеля:

— Ну, давай!

Парень в тельняшке, вялый и никчёмный, враз запохожился на прыгающего на носках акробата. Присел, кошкой перепрыг-нул деревянные жерди изгороди с верёвкой в руке, грудью упал на широкую спину первой же задремавшей свиньи. Та охнула,

слепо рванулась вперёд. Какое-то мгновение Лёшка проехал на свинье вдоль изгороди, но этих мгновений хватило ему, чтобы в открытую пасть свиньи, охающей с перепугу, всунуть петлю тросика и затянуть удавку на верхней челюсти вместе с клыками. Свинья взвизгнула пронзительно, оглушающе, в бешеном рывке по базу потянула за собой Лёшку; тот, упираясь и натягивая верёвку на себя и ловко обмахнул её вокруг столба шиферного навеса и всё ближе, ближе подтягивал голову свиньи к опоре, а та билась, дёргала из стороны в сторону головой, падала, вскакивала, пятилась назад так, что готова была оторвать себе нос с синеющим пятачком.

Но крепок был тросик с привязанной к нему верёвкой. В помощь ловцу были свиньи клыки — из-за них бедняжке тросик не выплюнуть, не разжевать.

То же самое Лёшка с лёгкостью проделал со второй свиньёй.
— Лови за нос! Лови! — командовал Дonya.

Хрюшки охали, прятали головы в угол. Лёшка-«десантник» прыгал на их спины. Свиньи вновь визжали, хрюкали и, едва не затоптав ловца, метнулись своими грязными тушами в противоположный край выгульного база. Но в тот же момент Лёшка, раскорячась, с присядки прыгнул наперерез двум оставшимся хрюшкам, также грудью навалился на одну из хрюшек, прижал её к стене и мгновенно тросик арканчика впился в верхнюю челюсть свиньи, и Лёшка, проехав на её спине в положении подстрелянного всадника, сделал резкую подсечку на себя.

Свинья рванулась вкруговую по базку. Ловец какое-то время, повиснув на животном, прокатился от стены до стены, тянул на себя верёвку, прижимаясь спиной к изгороди и упираясь пятками в кизечную сушь база. Свинья так же, как и первая, охала, визжала не хуже тревожной сирены на крыше районного узла связи, но постепенно успокаивалась, присаживаясь на задние ноги и оставляя верёвку, привязанную к столбу калмыцким узлом в натянутом положени.

Маркей не успел понять, что собираются делать покупатели, как вслед за перкой к столбу была подтянута вторая хрюшка, а рядом с ними, как рыба на палочке сквозь жабры, вот уж стояла и третья его хрюшка.

Доня помогал Лёшке подтягивать свиные головы вверх, будто принуждая пленниц смотреть в небо

«Ты гля, что делают... Им же больно...», — хотелось протестовать Маркею, и он пытался ослабить верёвки, привязанные к опоре навеса:

— Куда вы им головы вверх тянете?!

Маркей был несколько удивлён приёмами поимки свиней. Нет, вот так бы каждый день ездить и ловить на базах свиней он, тракторист-машинист, никогда бы не согласился. И это как-то смягчило его несогласие с действиями покупателей.

— Ну?... — открыв рот и часто дыша, недоумевал распалённым лицом Лёня.

А свины «пели» уже в три голоса.

— Ты хочешь, чтобы они отвязались, всё тут тебе в огороде перерыли? Мы знаем как надо! Держи, держи... — схватились три пары рук за дубовый столб навеса, опасаясь, что пойманные свины выдернут его из земли.

Лёля держала наготове клеёнчатый поясок, обвила им грудь лопухого поросёнка, будто обнимая его, и тут же кивнула Доне:

— Записывай: сто сантиметров!

— Теперь длину спины... — поучал тот, моргнув веком правого глаза сообразительной помощнице.

Маркей видел, как женщина приложила клеёнчатый метр от холки поросёнка до основания хвоста и тут же переставила накрашенный ноготь пальца в сторону головы на ширину ладони, и вслед за этим громко объявила:

— Девяносто сантиметров!

— Какие девяносто?! Перемеряй! И голову опусти, шея ровно должна быть со спиной, а не гармошкой... И меряй от затылка до корня хвоста... А ты от лопаток меряешь... и там на ладонь врешь... Это же неправильно! — возмущался хозяин, видя, что девка обманывает с замером.

— Знаешь что, мы знаем... — и Лёля вновь показала смежок. — Во! Какие тут сто сорок килограммов... тут они вам хотя бы по сто вытянули! А нет — до свидания! У других купим!

Маркей повесил нос. Что делать? Ить не сговоришь... А претензии его были законны. У него книжка есть, как определять вес животных на основе замеров. Там ясно прописано, как проводить замер, что на что умножать и на какой коэффициент делить.

А Лёля уже делала замеры на двух других привязанных свиньях; Маркей стоял и не знал уже как быть: выгонять покупателей со двора или ждать, что они всё-таки заплатят — деньги-то нужны... Много чего напланировали... Да и не было уже ни сил и ни средств продолжать дело. Надеялся на «своих» покупателей, чтоб по совести, по справедливости оценили их труд с Полиной, но, как в ясный божий день было видно Маркею, и эти «друзья народа» выглядели обманщиками.

Маркей уже не смотрел на окно в надежде на поддержку. Глазами он провожал своих хрюшек: «Всё, последний раз я вами занимаюсь... растишь, растишь, а продашь за бесценок... Всякий тебя так и норовит объегорить, обмишульничать... Кто же так обмер делает? По четверти сбрасывают от головы, по четверти - от хвоста. Гнать бы таких со двора, но завтра же приедут такие же шулеры — и некому пожаловаться. Частная сделка...»

Так-то оно, Маркей. Это вам не государственная заготконтора, а рыночная экономика... Кто нахрапистей, наглей, тот и в дамках. А ты планировал, мечтал, в конце концов рисковал по-

пасть под статью карантина... Но что же насчитают покупатели за твой крестьянский труд?

Доня потыкал пальцем в калькулятор:

— По семь с половиной тысяч твои свиньи стоят... Умножаем на три... — и он подошёл к Маркею, быстро отсчитывая ему на ладонь сотенные купюры. А он стоял и ничего уже не видел и не слышал. По десять-двенадцать тысяч планировал получить за голову...

А покупатели уже гнали хворостинами посмиривших свиней за двор, тащили их одну за другой в тележку, привязывали к железным стойкам, а позади них занимал позицию Лёня в тельняшке — гонкий, с победной улыбкой блаженного. Свиньи пятились назад с неистовым упрямством, напрасно натягивая в струну тросики, визжали, будто таким противодействием они могли обрести свободу.

Так и человек, попав на кукан обстоятельств, плачет, мечется, но идёт за поводырём, не зная, что ждёт его впереди.

Машина тронулась. Лёня с улыбкой до ушей махал рукой, гикал, визжал от радости не хуже порося.

Маркей, в третий раз пересчитывая деньги в ладонях, не вышел провожатым, но слышал, как вдоль хуторской улицы, торжествуя, гремела бортами тележка. Звуки удалялись всё дальше и дальше... И вскоре их совсем поглотило расстояние, оставив хозяина подворья со своими проклятиями: «О, дурак, отдал... Дурак, дурак... Обдурили, объегорили... А раньше-то была заготконтора... Всё по-честному, по-государственному!»

* * *

Сосед на забор навалился грудью, локти – в стороны, голову свесил:

— Почём же отдал? На машину заработал?

Маркей нехотя буркнул, рукой отмахнулся, а глаза к земле со вздохом:

— Какая там машина... планивали много... а вышло по нулям, ежели затраты подсчитать.

Сосед только душу квелил*:

— В самом деле? Прогада-ал... Щас на свинину цена... Чего спешил-то?

— Думалось, по совести... А куда деваться? Деньги нужны...

СВЯТОЙ МИРОН

Акулина поливала из колодца огород: на двух сотках огурцы, морковка у неё там были посеяны, а на днях там же высадила рассаду помидоров и капусту среднюю и позднюю. Колодец с журавцом, к длинному шесту пристегнула новенькое оцинкованное ведро, опускала его в каменную шахту, черпала холодную родниковую воду по самые края, поднимала наверх, выливала в старенький ржавый тазик, тазик подносила к грядкам и по кружечке выливала под корешки своих посадок. Два ведра воды всего-то и успела поднять на гора Акулина, а тут раз! — и оборвалось ведро. Вот уж рукой хотела взяться за дужку ведра — полетело оно вниз, бултыхнуло с трёхметровой высоты, аж брызги из колодца выше сруба полетели и окропили бабе лицо.

— Господи, да что это за наказание... — упала на колени женщина, глядя в колодец, на дне которого всё ещё плескалась по сторонам вода. — Вот те и полила... Как же её теперь доставать? Это черт—те что такое... Весь куток за водой сюда ходит, а сделать хорошую застёжку некому... Как теперь быть? А ведро—то новое! Ой, Господи, прямо хоть реви...

— Ты с кем там разговариваешь? — окликнул кто-то Акулину, и она встала от сруба: перед ней стоял сосед Никита с дву-

* Квелиль — доводить до слёз.

мя ведрами на коромыслах. — Никита Иваныч, ды ведро у меня оторвалось в колодезь. И чё я теперь буду делать? Токо собралась поливать — и на тебе! А ведро-то только что с магазина! Ды головушка ты моя горькая...

— Кошку* надо искать... — и Никита снимал с плеча коромысла, устанавливал на дощатой скамейке свои белые эмалированные вёдра.

— Кошка настоящая разве у кого теперь есть?

— Ну, нет так нет. Возьми вон какой-нибудь шест, прикрути крючком проволоку, туда-сюда порыбалишь, вот и достанешь своё ведро... Ну-ка, дай я воды наберу...

— Ды как же ты наберёшь, когда застёжка вместе с ведром оторвалась...

— А-а... во-он что... Правда, что же теперь делать?

К колодцу подошла Клавдия Захаровна. Ей тоже надо было в термос воды набрать. Она заглянула в сруб, помахивала на лицо платочком:

— Ой, какая глубина... просто в глазах начинает кружиться... Давайте как-то думать... мы что же это... без воды должны оставаться?

Никита пошарил в траве рукой и вытащил из неё кусок проволоки:

— Во, щас мы прикрутим тяголь... моё ведро зацепим...

Тут подошла продавщица Нюра:

— Оторвётся твоя проволока... Второе ведро утопим...

Бывший управляющий совхозной бригады подъехал на «Жигулях», усы расправил, фуражку снял с головы и тоже заглянул в колодец:

— Чё тут такое?

— Ведро утопло. А у кого теперь кошку найдёшь? Всё в металллом сдали...

— А вы в МЧС позвоните...

* Кошка — кованный инструмент в виде рыболовного крючка-тройника.

— Гля, правда... — и Клавдия Захаровна достала из кармана телефон. Всё внимание теперь было на неё. — Алё, МЧС? Помогите, ведро упало в колодец. У нас полхутора осталось без воды... А у нас дети, старики... — и женщина, выслушав ответ, резким движением сунула телефон в карман платья, глазами кидала по лицам собравшихся: — Вот вам и МЧС... «Мы вам не обязаны... это не чрезвычайная ситуация...»

Людей возле колодца собралось уже с полхутора. У всех был один вопрос: как достать ведро со дна колодца? Одни предлагали найти длинный шест, забить в самый его конец гвоздь в виде крючка, вторые — искать кошку, похожую на якорь, третьи — выковать новую застёжку для ведра и притулить её к носику журавца.

Шест длинный не нашли, стариннойковки кошка ни у кого не сохранилась, сделать новую застёжку для ведра — ехать в соседний хутор в мастерскую... На этом все и разошлись.

Присела Акулина со своим горем на скамейку возле колодца. Вот тебе Мирон идёт мимо. Рубаха нараспашку, взгляд весёлый и озорной. Руки у него длинные, сам, как фитиль; чуть что не по его, вспыхнет, до драки, бывало, спор доходит. Что ни компания — Мирон там обязательно. Для одних Мирон был в авторитете, мол, руки у него золотые, для других — безработный, шатается без дела, для третьих — чудаки и балагур. Но вот сейчас он опоздал к колодцу, когда хуторяне беду решали, а то бы он сказал напрямиком, что думает.

— Миронушка, ды родной ты мой... придумай, ради Христа, что-нибудь: как мне ведро достать из колодца?..

Мирон — руки в карманы брюк, в колодец посмотрел наискосок: ствол выложен самородным камнем, на самом его донце зеркальцем отражалась небесная синева. На глаз прикинул — досягаемо до воды... Бывают верёвочные лестницы, по ним проще спуститься к воде... Можно бы использовать автомобильный буксир, привязав его к срубам. Но это же надо искать,

спрашивать... А бабе поливать! Было бы это на пруду, на речке — да без проблем выловить утопленное ведро. А тут колодец, шахта каменная... Но это даже лучше, чем бревенчатый сруб; дубовые брёвна от сырости скользкие, а по каменному стволу до самой воды можно спускаться без проблем — Мирон по молодости проделывал такую выходку на спор!

— Прямо сычас надо достать ведро?

— Сына, ды поливать же надо...

— А для сугреву найдётся? Вода-то колодезная... Там ишо нырять надо метра на два...

Акулина не поняла, что выдумывает Мирон. Жара на дворе, а ему дай для «сугрева». Но она же с просьбой, ей и расплачиваться.

— А то чё ж, надясь в лавку ходила, пол-литра винца взяла на всякий случай...

Мирон разделся до плавок, вскочил на сруб, опустил в него ноги, руками держался за верхний шар брёвен и, нащупывая пальцами ступней и рук выступы каменной кладки, не спеша стал спускаться вниз с упором спины в холодную стенку шахты.

Мирон учитывал, что любое неосторожное движение вниз по стволу шахты может закончиться падением, а этого нельзя было допустить. Даже с трёхметровой высоты падение в воду может обернуться плачевно, но он абсолютно был уверен: своё решение он выполнит. Старался не смотреть вниз, на пятачок «того света», в который падали из-под его ног, рук мелкие камешки, а их падение сопровождалось плюханьем, шлепаньем о поверхность воды. Знал Мирон: в случае, если под ногой обрывается камень, надо принять упор обеими ногами и плечом в стенку, искать пальцами рук и носком ступни иную опору. На уровне плеч цеплялся пальчиками за каменные пороги, спиной по чуть-чуть сползал вниз, насколько было возможно,

Сруб с квадратиком светло-пепельного неба уже был над головой. Снизу всё больше тянуло холодом, всё больше сгущалась

ть, лишь падающие камешки цокали в воду, отсвечивая мелкой зыбью и звенящей пустотой.

Главное — не сорваться, не упасть...

Мирон глянул вверх: Акулина, свесив голову в сруб, не переставала причитать:

— Ой, Иисусе Христе, ты ж помаленьку, не спеши... Ой-ё-ёй... ой...

— Бабка, тихо! Свет не засть!

Мирон по камням шахты опустился до самой воды, вдохнул в себя воздух, закрыл глаза и плюхнулся ногами в жгучую воду с головой. Столб воды, действительно, был не меньше двух метров. Ногами достал песчаное дно, ступнёй нащупал ведро, зацепил носком дужку и подал её вверх. Надо было ещё присесть и взять её в руку. С положения «вприсядку» резко оттолкнулся ногами от колодезного донца, но ведро, как парус, с ним доразу не вынырнуть. Спиной уперся в скользкие камни шахты, ноги — распоркой, а ведро на вытянутую руку — вверх, будто двухпудовую гирию.

Выше головы рука уже чувствовала тёплый воздух. Ведро Мирон выбросил донцем вверх. Теперь резким движением можно было вынырнуть и самому, цепляясь руками за уголки камней, упираясь ногами в выступы кладки, Мирон приподнялся из воды до пояса, ведро повесил на руку — и вверх, к солнцу, к земному теплу.

Пядь за пядью, царапая спину, ногтями впиваясь в камни, уложенные древним мастером «на сухую» в круговую стенку, похожую на трубу, Мирон уже чувствовал маленькую свою победу: он уже стоял над поверхностью воды... ещё два метра вверх, и он вернёт старухе ведро.

От разогретого мускулистого тела парня шёл пар, предплечья сплошь покрылись «гусиной кожей», будто зимой в предбаннике. Но ничего страшного, главное для него — сделать добро, а для сугреву — лето и солнце.

Слышать приходилось Мирону, что со дна колодца днём звёзды на небе видать. Наверно, неизвестные строители глубинных колодцев того заслуживали. А Мирону не приходилось такого наблюдать. Видно ли будет звёзды, когда всё тело сковало холодом, а во рту зуб на зуб не попадает. На крещение вода в реке Мирону теплее, чем летом в колодце!

Пальцы рук ищут выступы, угловатые камни. Ведро на руке гремит, цепляется за стенку. Была бы верёвка, так привязал бы к ней утопленницу. Но это же надо было приготовить... А некогда — у старухи поливной день, к тому же полхутора без воды с ума сходят. Да и у Мирона тоже спешка, колготы: кому-то огород вскопать надо, кому-то мотор автомобильный отремонтировать.

«А ведь получилось, получилось и это... — думал он. — Самому даже было интересно: поднять из колодца ведро», — и в ту же минуту, сделав последний упор ногами в плечики замшелого камня, выбросил он из сруба ведро (оно покатилося, загромыхало бабе под ноги), — и вот он сам Мирон во весь рост, ухватился за край сруба ладонями и тут же легко выпрыгнул, приседая то на правую ногу, то на левую, и прикладывал при этом ладонь к уху.

— Бр-р... — вздрагивал Мирон от родникового холода, — вот тебе, мать, ведро. А прищепку надёжную я сделаю, чтоб ведро в другой раз не сорвалось...

Акулина благодарит, крестится: «Ой, спасибо тебе, Мирон! Чёрт бы с ним, с этим ведром, новое купила бы...».

А Мирону-то что? Ему это вместо игрушки. Для мира он и живёт, а мир — он самое и есть.

— Дай Бог тебе здоровья... Ды я сроду и не думала — ведро со дна достать... — на скамейку села Акулина духу набраться, измочалилась она в переживании, будто сама спускалась в колодец.

Утром следующего дня баба отливала зорю. Соседи собрались у колодца, дива им господняя: журавец с ведром в исправном виде!

— Кто ж тебе помог? — спрашивали бабы.

— Ды спасти Христос Мирону...

— И как же он это... — смотрелась в ведро с водой и поправляла причёску Клавдия Захаровна.

— Да я и глазом моргнуть не успела, а он нырь! — и в колодезь, и вот оно ведро.

— Как это «нырь»? — удивилась продавщица Ньюра.

— Ды так: разделся и нырнул в колодезь...

— О, Господи... он же у нас святой, освящённый... мы для чего батюшку прошлый год привозили?.. Бабы, Мирон голым в колодец нырял! — перекрестилась Клавдия.

Ньюра бросила пустые вёдра, трясла ладонью:

— Ты понимаешь, что ты наделала? Мирон голым в колодец лазил! Как из него теперь воду пить?! А колодец святой!

Акулина долго слушала молча, глядя то на одну соседку, то на другую. Улыбнулась, пальчиком из стороны в сторону кинула:

— Не, бабы, он не голый нырял в колодезь.

— А как же?

Акулина описала глазами какой-то полукруг.

— Не голый Мирон нырял, не голый — он был в трусах! — помолчала и перекрестилась: — Дай бог ему здоровья. Он у нас сам, как святой...

С тех пор Мирона стали величать ещё и Святым. Если что, он первым готов не только в воду, но и в полымя. На таких, говорят, русский мир держится.

Мирон. Мир он...

ПЧЕЛОВОДЫ

Возле хуторского магазина ТПС (товаров повседневного спроса) сидел на скамье мужчина с небритым лицом и тусовал в руках колоду карт. Слева от него на широкой сидушке стоял пустой стограммовый стаканчик, луковина и ломтик хлеба; сидя в пол-оборота, этот человек раскладывал на доске своих «тузьёв», «валетов» и «дам», затем в какой-то своей последовательности собирал их в руку, а когда приближались к магазину прихожане, он вновь тусовал карты с необычайной быстротой и ловкостью, предлагая всякому присесть рядом и перекинуться «в очко», поэтому и кличка прилипла к нему несколько похожая по звучанию.

— Давай сыграем, а? В очко... Ну что... слабо? Я вот на кон кладу сто рублей... Давай и ты, — кидал он в фуражку какую-то красненькую бумажку. — Лучок вот есть... калбаска есть... хлебушек тоже... Я вам не Борис Николаевич, а Николай Борисович!

Но редко кто к нему подсаживался, а вот по части продуктов — подкармливали из жалости: несчастный... жил один... никому ненужный, разве что как наёмный работник имел он спрос: разгрузить, погрузить, перекопать огород — все знали, где его искать: на лавочке, за весёлой своей игрой. А выиграет, завлечет — будет наполнен у него и стаканчик.

...Вот ещё двое подходили к магазину с противоположных сторон улицы. В первом он признал кладовщика Терентия с упитанным животом, на котором всегда была расстёгнута нижняя пуговица сорочки, оголяя треугольником белое тело; где-то под вислым животом пряталась у него резинка летнего трико. Красные слезящиеся глаза пучила Терентию летняя аллергия, и поэтому он был похож на речного глазана с растопыренными розово-зелёными плавниками.

Увидев товарища, идущего к нему навстречу, кладовщик протянул к нему свои руки:

— О-о... кого я вижу?..

Навстречу Терентию шёл согбенный человек. В фуражке с чёрным околышем и тусменным козырьком, сдвинутой на самый затылок, руки с целлофановым пакетом — за спиной, а полы пиджака его едва не доставали земли. Судя по его осанке, не трудно было догадаться, что этот человек всю жизнь занимался земледельческим трудом.

— А-а... это ты... всё поправляешься... Ну, как пчёлы? — и однохуторяне поручкались, приобнялись.

— Где ваше здрасть? Сыграем? — картошкой совал свой нос с лавочки третий.

— Да пошёл ты... — шикнул на игрока Терентий.

Горбатый отмахнулся где-то за спиной, как нутрия своей ластой, когда та с испугу уходит в глубину пруда.

— Пчёл я вывез на липу прошлой ночью. Ну, думал, буду стоять один. А нынче поехал утром — кто-то со мной рядом на Размётном усинке высадился. Вот зараза! — выпячивал первый красные свои глаза, как бильярдные шары.

Николай Борисович перестал митузить карты:

— Здраваться надо... Я не Кончак — Николай Борисович!

— Да пош-шёл ты.. — теперь уже топнул ногой на картёжника глазатый.

Горбатый прямил свою кочку на спине, уведомляя:

— Так это же я там поставил четыре улика.

А-а... а я думаю: кто? Влез какой-то, ядри его в корень... Надо же было иметь совет, предупредить, я бы летки сократил в ульях... А ты ещё ничё, крепкий... не то что у меня: живот прёт, глаза лезут наружу... Давление! Понимаешь, дав-ле-ние...

Друзья поручкались, а Николай Борисович с присвистом слушал и наблюдал за встречей друзей, что-то такое высокое выражал рукой с веером пальцев, толсто раскатывал губы, встря-

хивал шевелюрой и глазами показывал к небу: о-о-о... «Меня, Николая Борисовича, не поприветствовали...»

— Не, в самом деле, Петро, ты своих пчёл увози. Щас пойдёт налёт, воровство... Пчёлы задерутся, семьи пропадут... — бормотал в нос Терентий, глядя куда-то в сторону.

— Да не может быть такого. В природе летний взяток, чего им драться? Вместе будем приглядывать за пасаками... — утверждал горбатый.

— А я тебе добром говорю: увози! А то я твои ульи — в яр! — сурово посмотрел глазатый на Петра, а Николай Борисович, слыша всё это, звонко рассмеялся, и это горбатого оскорбило ещё больше:

— Ну, а ты-то чего понимаешь? Сказано: Кончак; сидишь вот тут и сиди, не лезь в чужие разговоры! — отмахивался пожилой старик рукой, как перепончатой ластой нутрия.

— Но-но... Я Николай Бори-исович... — ёрзал на скамейке картёжник.

Дед Петро на мотоцикле с коляской перевозил свои ульи ночью. Да если бы видел, что поблизости стоят чьи-то короба — отъехал бы подальше, лишь бы не скандалить. Отвернулся Петр от Терентия, выместил всё своё супротивное в душе на картёжника:

— И-и... сидишь, всем голову морочишь! Работать надо!

— Иди, иди, дед, а то я тебе сделаю — «Кончак...»

Терентий на высокие цементные ступеньки магазина взойшёл, не оборачиваясь к прохожему старику, громогласно повторил:

— Петро, увози, увози пчёл от греха...

На второй день Пётр приехал на пасеку: нет одного улья! Куда он мог деться? Украли! Посмотрел по сторонам, пошёл к противоположному краю поляны посмотреть на работу пчёл со-

седа. Да вот он и пропащий его улей, в зелени кустов, замаскированный сорванной травой так, что со стороны и не видать белую крышку, синькой выкрашенные бока — одна лишь прорезь летка к солнцу, а на прилётной доске пчёлы комом сидели, активно работая крылышками в сторону щели, и решил: Терентий семью пчёл вместе с уликом прихватизировал... и замаскировал его травой в кустарниках.

Днём улик с места на место переставлять нельзя: лётная пчела будет возвращаться домой и не найдёт свою семью, свой улей; считай, пропала. Надо было ждать до вечера, а Пётр всё думал: «Вот тебе и Терентий... Бессовестный он человек... Стал возле него, так он и улик украл! Надо уезжать. Как смеркнется, так перевезу ульи в другое место...»

До вечера ещё было далеко. Пётр снял крышки со своих оставшихся трёх коробков, осматривал засев, подставлял рамки с новой заводской вощиной, из дымаря покурировал на пчёл, срезал трутневый расплод: в ячейках сот на донцах поблескивал напрыск свежего мёда; взятки шёл полным ходом, пчёлы работали, но надо было переезжать подальше. И минимум на два километра, а если ближе стать к прежней стоянке, то рабочая пчела вернётся из полёта на старую стоянку, свои ульи не найдёт и их примет с мёдом чужие семьи за здорово живёшь.

Попало же так Петру: стать рядом с Терентием. А кому оно интересно во время взятки переезжать с одного места на другое? Двойные расходы. Но уедет ночью Пётр! «Нельзя оставаться, раз такой умный дурак нашёлся. Чего доброго, а то и в самом деле ульи в яр сковырнёт», — думал старик.

И вот она белая машина Терентия. Хозяин идёт к своей пасеке животом вперёд. В одной руке ведёрко, в другой — нож кривой пасечный, на голове — пчеловодческая шляпа с завёрнутой вверх сеткой, лицо, что красный шар. Возле шалашика из веток присел на чурку в тенёк, сорочку снял: жарко! Воду глотнул через край из ведёрка. Как хорошо было в лесу: пахло

цветом, зеленью, отовсюду слышалось пение птиц, а перед глазами от ульев к ульям, едва успевал приметить глаз, дзинькали пчёлы; радостью было для Терентия наблюдать за их работой, жизнью вот так наедине, в тиши; и вовсе он не боялся, что его укусит пчела.

Дед Пётр бросил рамку — к Терентию на приступ:

— Бессовестный, ты чего же это у меня улей украл?..

— Какой улей?

— А то ты не знаешь, ка-кой...

— Вот он стоит... — проказывал пальцем дружок-«холмогор».

— Да не брал я твой улей!

— Не брал... А это что? — и дед за шалашом сбросил с крышки своего улья ветки черноклёника.

Терентий пучил глаза на улей.

— Как он тут оказался? Не знаю!

— И... бессовестные твои глаза... Украл! Украл!

— Да не брал я твой улей! — разжигало Терентия. Он пыхтел, как самовар.

— А это что? Мой улей, схороненный у тебя на пасеке! Не пчеловод ты — вор!

Терентий бросил под ноги ведро, размахивал перед собой ножом:

— Не брал Я! Не бра-ал...

— Бес-совестный!

— Не брал!

— А это что?! Бессовестный!

— Я? Бессовестный? — ещё более у Терентия вывалились из орбит глаза .

— Да!

— Ну, знаешь ли... На тебе! — и Терентий ножом полоснул себя по вислому животу выше пуповины, развалив кожу с жёлтой жировой тканью. Кровь не сразу пошла, сначала скупо вы-

ступила капельками, но через минуту залила всю нижнюю часть живота с седой «папиной дорожкой» курчавого волоса; с глобу-са мамоны капало на колени, на траву...

— Не веришь? На тебе, на!

Петро разинул рот. Он притих, сжался, сгорбился. Убегать или оказывать помощь? Но у Терентия в руке кривой нож! Он точно так же может полосонуть и Петра.

— Да ты что? Сду-урел?.. — бледнели у горбатого губы, на спине пухло, руки его достали до земли и уже тише, тише: — С тобой прямо и пошутить нельзя...

— Не-е... ты мою совесть не трогай! Я копейки ни у кого не украл, никого не обдурил!

— Брось ножик, брось, ради бога, я тебя перевяжу... Я тебе верю, верю... — Петро так наперебой.

Терентий из краснолицего мухомора становился белым боровичком, беспокойно ходил по пасеке, кровавил траву, улыи, плевался, грозил Петру, но вскоре, надо было полагать, пришёл в себя, перевязал живот какой-то простыней и прилёг в тени старого дуба.

Дед Петро, втянув голову в плечи, всё ещё сторонился соседа: да разве он ожидал такого? Знал бы — не подошёл. Нашёлся улей — и слава богу. Молча ушёл к своей пасеке, но ни до чего руки уже не поднимались. Хандра и укор накрывали: «Я виноват, я...», и слышал издали всё те же пожелания соседа:

— Уезжай, Петро, уезжай, ради Христа!

На пасеке после этого наступила тишина. А в кустах, делях, яругах по-над Донцом слышал Петро, как будто кто-то посмеивался. И смех этот был похож на смех Кончака; он на следующий день, как ни в чём ни бывало, сидел на своей скамейке, хихикал, вражина, и взахлёб рассказывал о поножовщине пчеловодов.

КУБАНСКАЯ БАЙКА

Однажды, а тому более десяти лет назад, я ехал из Омска с казаками Ставропольского края на «Икарусе» со Всероссийского Круга* «Союза казаков» России. Мне предстояло возвращаться на Дон, как и приехал, поездом, но скучно качаться в нём несколько суток, а это просто повезло: атаман Шарков, царство ему небесное, взял меня до Волгограда, и я был этому рад: экономил время и средства. Вот уж, действительно, наше казачье братство...

И не только в этом повезло: меня посадили с казаком, который всю дорогу рассказывал что-нибудь из современной казачьей жизни. Он был невысокого роста, с ладной подвижной осанкой, в воинском мундире, с башлыком за плечами, аккуратно подстриженный, с непослушным хохолчиком русого чуба на лобастой голове, с погонами рядового. Когда он что-то вспоминал, то поворачивался ко мне в кресле с заваленной спинкой в пол-оборота, небесного цвета глаза его сверкали огоньками и в зависимости от накала страстей вокруг его героев ресницы век то заговорщески смежовывались, то расширялись, и он уже не смотрел на меня, а куда-то внутрь себя, под напуск стариковской вылинявшей щетинки некогда тёмно-русых бровей.

Вот он вновь толкнул меня выше локтя:

— У нас же как? Свистнули — собрались. Всё Круг решает: кого атаманом выбрать, какое доброе дело сделать, мероприятие провести... Деньги — в шапку, поехали куда надо. Словом, община у нас своя.

А это один кубанский начальник Алексей Фомич, по кличке Пузырь, поехал в Москву по делам своей строительной фирмы... А тут хоп! — заваруха. Вокруг Белого Дома народу собралось — яблоку негде упасть. Пришлось Алексею Фомичу тоже

* Круг — традиционный высший орган самоуправления в казачьих общественных объединениях.

занять оборону в защиту демократии, надеясь всё-таки попасть на глаза Ельцину. И о! — чудо свершилось. Выходит любимец народа на улицу, всем руки жмёт, и в том числе Алексею Фомичу. «Ну, атаманы-мОлодцы,— говорит так Борис, — за вашу стойкость, за Россию, всех отблагодарю» — «Спасибо, Борис Николаевич, за благодарствие, — не растерялся Алексей Фомич, — получить ба от вас наказного атамана — век ба служил верой и правдой. А то что у нас на Кубани творится? Что ни голодранец, то в атаманы прёт!».

Борис Николаевич аж покраснел: «Я, знаете, э-э... сделаю вас наказным атаманом Кубани. Сегодня, сейчас же...» Алексей Фомич только и успел крикнуть: «Слава России! Служу России!». И как будто по-щучьему велению вместо какого-то шланга, с которым он был готов броситься на танк, ощутил в руке корочку наказного атамана* Всевеликого Кубанского войска. С этой «ксивой» и приехал домой, и всем, ясное дело, хвалился...

В небольшом городке под Краснодаром прослышали про это казаки и возмутились: отродясь не было и не будет у них наказных атаманов. И постановили: не быть и этому! Атаманом будет тот, кого они выберут вольными голосами.

Ага, что дальше было? Контора Алексея Фомича располагалась на площади, напротив городской администрации. Когда начальник был в своём кабинете, то он всегда открывал на улицу форточку. Именно в такое рабочее время собрались казаки числом в сотни две, как полагается, по форме одетые. Построились колонной по четыре и строевым шагом пошли через всю площадь мимо конторы Алексея Фомича. Станичный атаман, стало быть, попереди — командует. Напротив открытой форточки конторы Фомича колонна остановилась и дружно скандировала: «Пу-зырь, вы-хо-ди! Пу-зырь, вы-хо-ди!».

* Наказный атаман — назначенный.

Из окон администрации высунулись головы чиновников и чиновниц, секретарей и секретарш, а по площади вновь прокатилось, как гром: «Пу-зырь, вы-хо-ди!»

Прохожие задерживались, посмеивались и показывали пальцем на окно Алексея Фомича. Тут в форточке мелькнула рука, форточка захлопнулась, а казаки постояли, по команде развернулись и ушли с площади так же, как и пришли.

С тех пор Алексей Фомич никому своё удостоверение наказного атамана не показывал, — завершил свою байку казак.

На этом и весь сказ. А мне тогда так и хотелось, чтобы братушка снова толкнул меня в плечо: «А вот ещё... Слушай, что такое кубанцы».

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

МОТОРИНЫ

Зимой солнце светит — снег лишь слепит. А на этом поле всё было перерыто снарядами, прошито пулями и осколками. Снег чернел оспинами воронок, невообразимо разбросанными телами и человеческими останками, измятым и разорванным оружием, кусками шинелей и простреленными касками бойцов, с буро-алыми подтёками из-под убитых и красными брызгами по всей этой мёрзлой мешанине чёрного с белым. И по этому полю битвы шла медленно женщина: в валенках, в длиннополном сюртуке, в накидном шерстяном платке, повязанном с напуском на глаза, с треугольником шали за спиной, с каймой по краям, похожей на берёзовые серёжки в провесень. А на костыле через плечо — солдатский вещмешок с остатком толчёных сухарей; были там ещё часом раньше четыре пары пуховых варежек и столько же пар вязаных чулок. Берегла мать их для мужа и

сыновей, вот, мол, война закончится... Да не судьба. Пусть носят теперь её рукоделие другие бойцы и гонят фашистов без промаха.

К полудню нашла мать Настасья за речкой Деркулом хутор Малый Суходол. 266 полк после короткого отдыха и подкрепления в то утро пошёл в атаку, смял оборону противника и с ходу пошёл в наступление на Луганск. В самый последний момент перед сменой позиций женщину сопроводили солдаты в полевой штаб полка, в замаскированном снегом овражке. Теперь же срочно требовалось менять место командного пункта, ближе к передовой, а тут эта Анастасия Галактионовна. И кто её пропустил? Кто она такая? Полк вновь пошёл в наступление. Какие тут могут быть свидания?!

Лейтенанту взвода охраны докладывал солдат, лейтенант — командиру полка:

— Товарищ полковник, к вам женщина. Просится на приём.

— Что ей надо?

— Говорит, с сыном пришла повидаться.

— Вот уж, нашла время... Фамилия солдата, подразделение! — держал не отрывая от уха телефонную трубку.

— Не знаю. Показывала письмо с обратным адресом нашей полевой почты.

Командир крутнул ручку аппарата:

— Первый, я второй... Прошу доложить обстановку, — и кивнул в сторону дежурного офицера с автоматом. — Где эта женщина? Сопроводите!

Анастасия вошла под брезентовый полог. С деревянного ящика из-под патронов, оставив телефон, приподнялся полковник: худ лицом, нос заострился, но горяч, глаза туда-сюда бегают нетерпеливо:

— Я вас слушаю.

— Сына я пришла проведать... Ваня его зовут, Моторин... Младшенький мой... Написал: так и так, стоим на отдыхе, под

Малым Суходолом... Муж у меня погиб, старшие остались под Сталинградом... Дай, думаю, схожу. Мы на Петровский вал ходили за двести километров, копали противотанковые рвы, а тут полтора ста всего. Вот и пришла. Руковички принесла, железото на морозе знаю как держать — пальцы липнут. Да скажу я сыну и его товарищам: гоните скорее проклятого супостата с земли нашенской, не быть нам под их сапогом. С нами Бог. Благословляю!

Командир снял шапку со звёздочкой, обнял мать:

— Моторин... Моторин... Как вас по отчеству?..

— Анастасия, а по батюшки — Галактионовна...

Рыгнула портупая на шинели, полковник стал по стойке смирно, поднял острый подбородок:

— Анастасия Галактионовна... Крепитесь... Ваш сын Иван Моторин в утреннем контрнаступлении погиб смертью храбрых... Спасибо вам...

Мать смотрела на командира и уже ничего не слышала, перед ней стояло в глазах лицо младшего сына: чернявый, а глаза голубые, доверчивые, всё с ужимкой, застенчивостью, если кто подшутит над ним.

— Ванюша, родненький... Не успела я... — и капнули с ресниц слёзы. — Где же он, где? Дайте хоть на мёртвого взглянуть...

Костыль упал с плеча, развязала вещмешок:

— Раздайте солдатам; тут кому что: может, перчатки потребуются, тёплые чулочки, женщины передали утирки расшитые, пару кисетов под махорку... — и кучей вывалилось всё на ящики. — Товарищам Вани, кто его знал... Нехай поминают...

Бой продолжался уже где-то далеко за хутором. Гремело, дымил за горизонтом и чёрнотой застило полуденное солнце.

— Ну, Анастасия Галактионовна, мне пора. Адрес ваш я записал. Будем поддерживать связь, — и показал при выходе из укрытия на противоположное за овражком поле. — Прости,

мать. Жалко, больно терять бойцов. Крепитесь и вы, мужайте. Что поделаешь, война... — Он немного отошёл к своему командирскому танку, бурчащему на холостом ходу; перед тем как вскочить на броню, обернулся назад, крикнул: — Я дал команду: погибших хоронить со всеми воинскими почестями. В опознании сына вам поможет похоронная команда.

Низко над полем пролетел белый голубь, ошалело хлопая крыльями. Он резко менял направление полёта в ответ на взрывы за хуторским увалом: уходил то вправо, то влево, то едва не падал на снег. А женщина шла по полю не сгибаясь... Шла от одного погибшего солдата к другому. Не было уже слёз, лицо каменело, в троеперстие сложенные пальцы её правой руки крестили каждого убиенного на этом засеянном смертью поле. Кто-то лежал ничком, прижавшись лицом к цевью автомата, целясь в противника с пулевой пробойной в каске и залитым кровью лицом, а рядом с ним присел боец и держал в руках внутренности разорванного взрывом живота. Белокурому пареньку на краю воронки с открытыми глазами, обращённых в муках к небу, оторвало ноги, а он, казалось, улыбался уголками губ и показывал сжатым кулаком на запад.

Анастасия одним прикрывала наготу, другим складывала руки, ноги, как то положено по-христиански. Израненные, простреленные, разорванные тела бойцов... Их не два, не три — десятки. К каждому надо подойти, сказать слово за упокой воина, живот свой за правое дело положиша. И седоволосые лежали тут мужики-богатыри, и совсем молоденькие мальчишки с едва проклюнутыми усиками... Не было среди них только Иванушки. И плачем заходило сердце:

— И милые вы мои головушки, да что же он, этот проклятый немец, да что же он натвориит-ил... сколько он людей погубил... и как же мы типерчии-ик будем жи-ить. Да чего же мы тебе, Гитлер ты, окаянный мироед, надее-елал, чего же мы тебе

плохого сделали—и, что ты пошёл на нас войно—ой... да сроду нам этаго не забыть... Да за что же ты нас хотел всех со свету извезть, поработить... Да знай же ты, поганец, сынов, своих соколов, просто так мы не даём... Откуда пришёл ты, ирод, туда и уйдёшь...

Стоило матери подойти к очередному погибшему солдату — сердце подсказало: вот он... как у отца завитушка чубчика на макушке и шрам на брови. В детстве коза приметила его рогом, когда он старался козлёнка поставить на ножки и подтолкнуть к вымени. А теперь вот лежал как живой, с простреленной грудью. Наверно, он в числе первых смело вступил в схватку с врагом на этой высоте. Сам погиб с несколькими товарищами, но основной состав стрелковой роты, увлекая за собой весь полк, перешёл в наступление, и освободили степной хуторок.

— Ванюшка, родненький, спешила проведать тебя живого, да не успела... Ну, что же мне теперь с тобой делать?.. Пойдём, мой хорош, домой... — Присела на колени, поцеловала припудренную снежком щёку, пропахшую пороховым дымом, для чего—то ладонью пригладила Ванюше короткий чубчик, прикрыла пальцами ещё тёплые, податливые веки. — Отец твой под Воронежем остался, братья — при обороне Сталинграда... Где их прах теперь найдёшь? А мы с тобой теперь будем вместе...

Она сняла с себя накидной платок, подложила под убиенного, сложила руки на груди, ноги перевязала тесёмкой и спеленала покойного, как в детстве, бывало. Солдатским ремнём перепоясала сына под руки, примерилась. Ванюшка был небольшого роста, щупленький, а теперь вообще был, как пушинка. Конец ремня потянула на своё плечо — и пошла с поля боя — грузно, бережливо.

— Чего нам теперь с тобой бояться? Долг мы выполнили... Сейчас вот будем править на Грачики, вдоль речки пойдём по хуторам на Верхний Митякин, в Верхнеталовке перейдём железную дорогу. Мы ж тут ходили с тобой в Гундоровскую ста-

ницу... А в колхозе осталось десять коров, пятнадцать овец и пара лошадей. Я ж в отступ с гуртом ходила под Камышин. Думали за Волгу переправляться. А вы тут пошли и пошли. Наши под станицами Еланской и Букановской с августа готовились на прорыв. В лесах силу собирали. А как-то гляжу — белые столбы стоят ночью в небо. Ну, думаю, знамение. Скоро наши пойдут, дадут чертей немцам. И точно. Через Дон мост такой сделали, что его не видно под водой, и танки, машины пошли ночью. Немецкие самолёты полетают-полетают — ничего не видно. А наши как жмякнули. И пошёл от нас Сталинградский котёл. Демьян с Андреем там остались, когда гору брали. Пришло на них... Церкву ж у нас открыли, отслужила молебен. Сначала ревела дурным голосом. А потом сколько можно, на работу переключилась. Надо колхоз поднимать. Под зябь пахать начинали на коровах. Бабы ж одни остались. Кое-кто по ранению пришёл, да старики. Так мы по двадцать человек в три плуга верёвками впряглись вместо быков — и поехали. Осенью четырёхста гектаров посеяли пшеницы. Но вроде один или два трактора нам вернут скоро из отступа. Весной уж будет полегче. А деды да ребягня лес готовят сейчас — на базы, на арбы... Мельница водяная у нас горела. Чё ж она, два года уж день и ночь фронту хлеб молола. Но сделали. Восстановили. Ребята 28,29,30-го годов подрастают. Они шас уже подмога великая: на лошадях, на волах... Доживём до победы! Спасибо вам, родные, пошли в наступление. Народ измучился, а это прямо душой воспрял — погнали немчуру! Всех этих румынов, итальянцев... Землицы им нашенской захотелось...

Ветер морозный — в лицо. Но жарко. Во рту сохнет. Остановится Настасья, снег зачерпнёт — вот она тебе и вода. В хуторах после оккупации — редко где дымок из трубы. Не видно ни людей, ни транспорта. Всё выжжено или разрушено. Одна надежда — на себя. В вещмешке тянутся ещё толчёные сухари. Кинет горсточку в рот — пожуёт. В вишнёвых садах — почки с

веток смыгала в ладонь. Пробовала с тополя собирать. Горькие. Но нужды в них пока нет. Толчонка в вещмешке — тот же хлеб. Главное — дойти женщине до дома со своим сыном.

Постоит вот так мать, наговорится, вокруг Иванушки снег притопчет — ему, наверно, теперь спокойней, мороз нипочём в накидном двухметровом платке, как в коконе, а Настасью вновь холод в дрожь пробивает: надо идти !

— Ну, Ванюшка, давай трогаться, пошли, родной... В тебе — то тут и весу осталось — не больше пятидесяти килограммов. Чувал с зерном тяжелее... Главное, чтоб ремень не порвался.

Шаг, второй... За Настасьей тянется след по снегу. Ноги, как ватные. Судорогой хватает мышцы рук. Надо, Анастасия Галактионовна, идти. Надо. И она прибавляла шаг. Кто бы поверил — сына несёт, своё будущее. Чтоб не забывали потомки, какой век достался Матрёне.

На третьей сутки мать попросилась к старикам погреться. Те угостили кипятком. Сыпнула в него крошек. Ну, теперь она дойдёт. Дом уж недалече. К печке прислонилась. С часок вздремнула. Кони мои кони — надо идти, колхоз поднимать.

Старик со старухой — следом в сенцы, на порог. Кто-то из них сунул матери за пазуху что-то тёплое.

— Арзац из отрубей бабка спекла, всё, может, жевнёшь, идти — то ишо далё-око... Возьми наши салазки, мы на них дрова из лесу возили, — всё, может, полегче, — крестился хозяин, срываясь голосом при виде покойного, завёрнутого в шаль. — И дойдёшь, дойдёшь, всё-таки на салазках легче...

Молча пустила слезу старуха, прикладывая уголок платка к глазам и часто шмыгая носом в бахрому платка.

— И наши идей-то там воюют... — показал старик трясущимся пальцем. — Господи, да когда это кончится, навидались мы этих фашистов...

Окоченевшее на морозе тело Ванюши с лавки, что стояла на крыльце, переложили на санки, подпоясали лоскутом.

... И снова бредёт по степи женщина со своей бедой. Идёт день, идёт ночь. Солнце светит, но не греет. Греет её сын Ванюша. Последняя её гордость, надежда. А ветер всё ещё северный. Гремит за спиной артиллерийский гром. Далеко ещё до весны...

Снег. Кругом снег. Схватывает санный след позёмка, ставит на крыло сугробы. По Гетманскому шляху на запад — один за другим выюжат гусеницами танки с надписями на броне: «На Берлин», «За Родину», «За Сталина», «От колхозников», «От уральцев», а по их торному пути — колонны в сотни машин с бойцами в белых полушубках, кавалерийские полки в походном марше. А под Миллерово Анастасия видела бредущую по направлению на восток змеиную завитушку от горизонта до горизонта в несколько рядов, тонущую в сиверке*, из пленных «завоевателей». Сколько ещё их будет — оборванных, в лохмотьях, с рваными на плечах трофейными одеялами, в обмотках на ногах — знали б они, что такое русская зима на Дону...

На просёлочном перепутье какой-то ходок, уткнув от холода нос в воротник шубёнки, живо заиграл глазами:

— Ты с чем это мордуешься, мать?

— Сына погибшего несу. С фронта.

— Э-э... какая разница, где в земле лежать... Всё подлежит забвению...

Анастасия ничего не ответила, посмотрела на случайного прохожего из-под локтя, повязывая сползший на затылок платок, продолжала идти своей дорогой, по-прежнему вела разговор со своим сыном:

— Мы ж с тобой не одни остались. Племянников у тебя троє. Тебе племянники, а мне внуки. А ещё есть Зинулька... у-уу... пальчики выставит — считать уже умеет. Захарка, Сашок и Николка — так те уже взрослые, помогают в колхозе... Мы, бабы, зерно обмолачивали цепами всю ночь, чтоб немцы нас с самолётов не видали, а они на лошадях отвозили хлеб в амбар, на мельницу. Ват глядим — под утро кони одни идут, тянут ко-

роб на колёсах деревянных. А детей нет. Перепужались до смерти. Мало ли что? Подбегаем всей бабской артелью, а они, бедные, намучились, свернулись друг к дружке калачиком и спят. Боже ты мой, достаётся война и детям... Не—ет. Не забыть этого, не забыть матерям, внукам все эти пережитки, потери, горести наши... Герои не подлежат забвению. Слышать, Ванюша, это я говорю, мать твоя родная. Ну, что ж, пора немного и отдохнуть, скоро, во-он, и наш с тобой дом...

Похоронили Ивана с бойцами, умершими от ран в прифронтовом госпитале. Был траурный митинг, возложили на братскую могилу венки, сплетённые из вечнозелёных веточек сосны. И в тот же день ушли добровольцами из посёлка на фронт ещё восемь бойцов вместо выбывших отца и троих сыновей Моториных, а благодарные потомки на месте захоронения воинов Великой Отечественной войны воздвигнут памятник — монумент с фамилиями, отлитыми в металле.

... Вот и снова 9 Мая. В шеренгах перед братской могилой с сотнями портретов погибших односельчан — внуки и правнуки Моториных.

Залпы боевого оружия хлётко уносят эхо по-над Доном в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. И вслед за этим взлетают из рук детей белые голуби. Они кружат над памятником, над колоннами бессмертного полка, зависая в воздухе, трепещут крыльями, не собираясь оставлять мирного неба.

К плитам из металла и камня, к вечному огню школьники, женщины, рабочие, служащие и предприниматели, фермеры и животноводы — односельчане самых разных профессий, увлечений кладут венки, тюльпаны, розы, гвоздики...

Я в их строю, душой и наяву, и не перестаю утверждаться в мыслях: Моторины не переведутся, они не забудут своих героев; с сыновним поклоном матерям, великим труженицам тыла в годы Великой Отечественной ...

ДЕД БУТОК

Дон столетиями сшивал в единое целое княжества, губернии, пробиваясь к морю, а к нему на подмогу быстрым притоком торил путь по займищам, мимо Святых Гор правобережья, Хопёр, оставляя наследникам древней крепости на урубе старое русло озёрным рукавом по-над левобережными песчаными берегами.

В тихую погоду гладь озера синееет кованой сталью, но дует ветерок, — взбурится рябью, волна за волной с пёрышками в гребнях бьются о берега; покачиваются, поскрипывают прибрежные ольхи, крона к кроне; где старые, там и малые древками копий тянутся вверх, опережая кудреватые дубняки, помнящие казачьи струги и барки.

За столетия на берегу озера из станицы вырос городок. Теперь его называют столицей провинции. Тесно становится станичникам, поэтому липнут к озеру улицы, дома, изгороди... А в прогалинах ивняка и тополей по-над извилистой дорожкой — пляжные пятачки с грибками, детскими забавами, похожими на коников, с мостиками и корабликами, с разукрашенными автомобильными покрышками; будто бы отслужили колёса свой век, но нашли они для себя новое применение, своё дальнейшее служение.

Хорошо, кто рядом с озером приютился. В жару не надо куда-то ехать, чтобы освежить душу и тело.

...Тут и зимой на Крещение казаки после водосвятия купаются в «ердани» при стечении немалого числа верующих.

Перед одним из таких пляжных плёсов за столиком с врытыми в землю сошками сидел по вечерам дед Буток, прислонясь спиной к штaketной изгороди, — в тельняшке, в очках и при сивой бороде на груди величиной с широкую рукавицу; усы полукочечками вверх, и казалось, что кончики их держались за

розовые пончики щёк, будто приклеенные. А помнили жители улицы: смолоду Буток носил лишь рыжеватые усики, но с годами у него на голове убывало, на бороде — прирастало. И такой он весь светлый становился к старости, как цвет меловой горы в августе, со светящимися живо-голубыми глазами в широко открытых реденьких ресницах, что даже в сумерках соседи видели его непокрытую голову, которая всегда пребывала в положении зоркого охранника: кто-нибудь что-то уронит, выбросит — тут же немногословно окликнет, укажет.

Дед всё вокруг видел сквозь очки тонкой оправы, но слышал он ещё лучше и нередко высказывал свою точку зрения на судачины отдыхающих и прохожих по берегу озера, начиная с вопроса: «А вы там были?», «Сами-то видели?»

Нередко деда ватагой навещали казаки, одетые по форме. И Петру Караваеву после общественных сборов в Урюпине удавалось заехать в гости к старику и пожать ему руку, как-никак почти тридцать лет шли с ним в одной упряжке по возрождению исторического пограничного воинства. Предупреждённый загадя о «нашествии», дед надевал на тельняшку десантника казачью гимнастёрку с медалями, шаровары с лампасами, белые шерстяные чулки с халявками почти до кален, обувался в чирики самодельные, поясняя: «Списанный под чистую... Но если неуправка будет у вас в Донбассе, звоните, у меня там ещё должок... А то! Пошёл на днях врачу показаться. По кабинетам водили, и понял я: «Неизлечимое прилипло ко мне...» — так лучше уж на передовую, чем ждать преисподнюю при здоровом смысле... Да, ходил в военкомат — даже добровольцем СВО я им не по зубам... «Да при чём тут мой возраст, болячки — Родину меня учили защищать...» Нет — и всё. А мне детей, мирных людей жалко в Донбассе. Поеду, думаю, позицию займу — и до последнего выщёлкивать буду, как отец в Великую Отечественную...

Разъехались гости, на столе кучу харчей и открытую бутылочку водки оставили, а Петро с Бутком всё сидели за столиком. Дед звякнул стаканчиками, налил в свою в рюмку; Караваев граждённый стаканчик опрокинул вверх донцем:

— За рулём.

— Ну, давай, за помин моей сеструхи...Одна она у меня была... — и он кивнул назад лысеющей головой, опрокинув «тару» под нависшие усы.

— А что с сестрой случилось?

— Убили...

— Кто?

— Человеконенавистники... Враги. Как ещё можно называть таких?

— Как это случилось?

Дед Буток не спешил с ответом, но Пётр догадывался, глядя в лицо собеседника, что воспоминания деду даются с напряжением мысли и пережитых страданий. Откашлялся в кулак, повёл неспешно свой рассказ:

— У сеструшки в конце июля день рождения. Присылает она письмо из Новосветловки: приезжай, отметим юбилей. Я ещё подумал: луганчане восстали против переворота в Киеве, свою республику провозгласили, заваруха начинается, а ей именины... подумал-подумал — надо ехать. Сестра одна. На перекладных до Каменска, Донецка... Вот Изварино. Я по форме одет, как положено. Пограничники не пропускают, мурыжат: к кому и зачем? Я так и так, букет красных роз показываю, к сестре еду на юбилей. «А чё ты в военной форме?» — «Да казаки все так ходят по праздникам!» Ну, пропустили на блокпосту, пограничники наши и ихние тоже не супротив. Нанял я легковушку. Едем. Шофёр мне: «Дальше Новосветловки не поеду. ВСУ Луганск окружают. А из-за чего? Референдум по весне провели областной. За свою республику народ валом шёл го-

лосовать не от хорошей жизни. Всё мирно, по пути, а теперь нас сепарами да ватниками стали обзывать киевские нацики. А у нас только одно: жить вместе с Россией и никакие наты, бандеровцы нам не нужны. Мыслимо ли дело — по живому отрезали от России! Немцев лысый объединил, а тут по живому расчленили, говорить по-русски стали запрещать, границу возвели. Вот и поднялся народ».

Проезжаем Краснодон, Молодогвардейск... кто же не знает эти города, где молодогвардейцы партизанскую войну вели с фашистами, — и вот справа Новосветловка... Давно был в гостях у сеструхи, но угадываю улицу, дом. Глянул туда-сюда — всё правильно: забор, цветник, калитку со скамеечкой признаю. А солнце, жара... и вроде как тень какая-то промелькнула... ястреб, что ли... и так это закружил над посёлком...

Полинка моя будто в эту самую минуту ждала. Выскочила, ворота настезь: «Братушка, родный!» Обнялись. Расцеловались. Я ей цветы, коробку с подарком. Росточком она не удалась, вся в бабку: полненькая, щёчки с румянцем, ладошки беленькие, в платье розовом, а на груди меж выточек воротничка - маленький крестик — мамкино благословение.

Сеструха всю жизнь поваром в столовой работала... Из мирных профессий, наверно, самая мирная.

«Поздравляю!» — говорю, а она меня за руку — и в дом. Смеётся от радости, готова летать надо мною. Шурин вот, Лёшка, навстречу, шофёрскую ладонь мне подаёт, до хруста в пальцах пожимает, приглашает рядом с собой за стол. Сваха Елизавета Ивановна тут же — кланяюсь ей. «Це ж сват? Який ты вырос...» С Вованом, братом шурина, тоже приобнялись, усаживаемся за столом, в рюмки налил шурин беленькой гарилки. Я стопку поднял, встал во весь рост: «Ну, сеструшка, за твои года! Дай бог пожить, внуков и правнуков понянчить». Выпили. Сваха тоже пригубила рюмочку винца. Пошли разговоры, что

и где у них на Луганщине творится. А сеструха то да сё подсовывает нам (напекла-наварила всякой домашней закуски, радарадёшенька угостить блинцами с творогом, курятиной и варениками с вишней); любительница была моя сеструха насчёт домашнего приготовления, всю жизнь после училища этим занималась.

Радовался я за Полинку: всё при ней, всё у неё по пути сложилось: муж приветливый, шоферюга класный и механизатор, четверых детей родили и воспитали, своими семьями уж обзавелись и тоже обдетились, живут там же, в Новосветловке. Младшенький Олег, правда, в Сибирь махнул, там и счастье своё нашёл.

Вот те сыновья Полюшкины Николка да Илюшка заваливают, мать поздравили. Я к ним: племяши, племяши... «Не, — говорят, — война-войной, а хлеба убирать надо. Мы поехали, вечером посидим, а то никто не знает, что завтра будет. Ополченцы Луганска под Хрящеватым бой ведут с вэсэушниками, а у нас пока тихо...».

Проводить пошёл их, а они — в машину и на поле. Что может быть самой мирной профессией?

Присел на скамейку. А давно ли Полюшка девчонкой была? Как сейчас помню: вот тут в озере купалась. Я с неё глаз не спускал, чтоб далеко от берега не заходила. Всё спрашивала: «А я вырасту, — долго буду жить?» — «Долго, — отвечал, — ты ещё меня переживёшь...»

Посидел, многое чего вспомнилось... Надо идти к столу, в дом. По пути забег в туалет по малым надобностям. А это заведение в самом конце огорода, на пригорке, метров сорок от дома. И токо я дверцу за собой закрыл — бабах! — рванул взрыв где-то справа, на соседнем участке. Насторожился я, прислушался. Снова свист режет воздух — и взрыв слева, но ближе к моему заведению, да так, что шиферину сорвало с изгороди. Думаю:

«Пристрелка по мне». Щас как даст по моему схрону фанерному — хоронить нечего будет, а если что и останется — никто и к гробу не подойдёт...

Присел я на унитаз, в ушах звенит, страх какой-то охватил: что дальше?

Вот тебе снова свист верховой и... ба-а-бах(!) в крышу сестриного дома! Вот те и коршун... А предсказывалось стариками: будут железные птицы летать и клевать людей... Думалось так, а сам глазом прилип к щели дверной: шифер, доски букетом вверх вздыбились; то ли дым, то ли пыль пыхнула клубами, провода сверканули бенгальскими огнями. Тут же где-то ещё по посёлку бабахнуло. Откуда и кто обстреливает? Ничего не пойму... Тут реветь надо, помощь звать, а у меня и смех, и слёзы. Что делать?

Я — в дом, а двери в щепки побиты. В потолке — провал, сквозь чад небо светится. И ни стола праздничного не видать, ни моих родичей. Штукатурка, кирпичи, обломки досок, стульев посреди горницы. «Живой кто?! — кричу. — Полина! Володя!!» Пыль руками разгоняю, лезу под обломки. Слышу, кто-то подал стон. Я туда... Володя это. Раскидал обломки праздничного стола, тяну его во двор волоком, а из-под него по порожкам кровь. Уже и не дышал, только руки подёргивались...

Снова бегу в дом. В углу под завалом руку сестры увидел. Вытаскиваю её, а она букет моих смятых, изорванных роз к груди прижала. Ни живая ни мёртвая, но дышала ещё и что-то хотела сказать, с трудом приоткрывала веки. Я её на руки, как дитя, да на свежий воздух. Схватил какой-то корец, зачерпнул из бочки воду, даю напиться. А она только чуть губами шевельнула, и всё. Вода потекла по щеке мимо. «Ладно, — говорю, — потерпи, ещё двоих надо искать», а она чуть слышно мне: «А ты говорил, что долго жить буду...»

Сваху я вынес совершенно мёртвую. Вся осколками посечена была. Как, думаешь, мне было? Я сам не свой, бросает туда-сюда при виде такого. Брата моего шурина тоже нашёл на полу, весь стеклом осыпанный, лица не угадать... а он при теле, еле вынес его во двор, положил рядом с матерью — живой, только вздохи рывками, в гортани клокочет. Пока «скорая» приехала, он и затих. А сеструшку в больницу увезли. Я с ней. Но на следующий день и она умерла.

Так четыре гроба и вынесли со двора. А кто стрелял? ВСУ и стреляли по посёлку. Они на горе стояли, племяши потом мне рассказали. Может, кто-то наводку сделал — ватники собираются... Коршун не зря летал... К Луганску рвались нацики. План был потопить город в крови. Им было всё равно, по ком стрелять, и били по домам, по Дому культуры Новосветловки — одни стены без окон остались.

Как думаешь, русские это люди были? и что мне было делать? Похоронил я сеструху, шурина, сваху, деверя Полношкиного. Всё держался, держался, а на кладбище чуть не разрыдался. Поминный стакан налил я себе, слезу смахнул: «Хотел я выпить за здоровье, а пью теперь за упокой...» Горюй не горюй, а попрощался я с племяшами и решил идти на Луганск. Там, сказали мне, город поднялся в оборону против киевской хунты..

Шёл лесополосами, ярами, как бирюк. В одном месте чуть не напоролся на засаду. Но дошёл. В облвоенкомате дали мне пятнистую форму – переодевайся, а то ты дюже приметный в казачьей форме. Бутсы дали мне новые со шнурками, копелюху с козырьком под цвет формы. А пекло стояло... И шумят: построение! А какое там построение, когда надо за оружие браться! Нас человек пятьсот, Плотницкий ходил там перед строем и говорил, говорил... Я далеко от него стою, ничего не слышу...

«Празойдись...». Снова построение. А тут как дали по нас минами. Меня подбросило и швырнуло так, что я колесо гауби-

цы (стояла там во дворе) обнял, как родную. Короче: военкомат вэсэушники разбили до смерти. Кто остался в живых — к новому месту дислокации. В онкологическую больницу нас! И там накрыли. В укрытие, за стену бегу, а дышалки-то по старости уж нету, и я упал. А один дружок, Андрюха, схватил меня — и волоком под фундамент. А то бы я там на асфальте и остался. Снаряды следом за нами рвались. Оказывается, вэсэушники уж по городу мыкались с миномётами на открытых «газельках» и били по скоплениям людей: плюх-плюх — и уехали.

Трупы лежали на солнце. Убирать их было опасно, некогда и некому. Три-четыре часа в жару — и труп лопался. По всему городу смертью запахло. Вот она, думаю, хвалёная западная демократия. Надо сражаться, республику ихнюю защищать. А у нас из оружия — милицейские пукалки 5,45, автоматами называются, да винтовки образца 1904 года... Но всё ж-таки мы выдавили из города убивцев... Весь город поднялся. Отец с сыном, помню, танк Т-34 сняли с постаментов, отремонтировали, завели, и тоже стали в оборону, будто от немецко-фашистских захватчиков.

А потом нас перебросили за Северский Донец, под станицу Луганскую. Пески, чахлые сосёнки. Нас где-то полторы тысячи. В основном бойцы с Луганщины. Были казаки-добровольцы с Колей из Новочеркасска, беларусы и чеченцы.

Меня на передовую, в окопы, не взяли. Я во втором, третьем эшелоне. Смеялись: «Дед, ты нам только мешаешь... Песок из тебя сыплется... Чё, деньги приехал зарабатывать?» А я говорю: «Погодите, я ещё пригожусь. У меня тут ишо должок. Старых казаков не бывает. А за сестру, за шурина и его родичей, царство им небесное, я ещё сочтусь. Зря, что ли, учился, присягу принял Родину защищать?»

Патроны вожу к передовой, блиндажи обустроиваю. А тут танк начал по нас бить. И так день проходит, два... Ничего не

могут поделаться с ним ополченцы. А снаряды ложатся по передовой линии, и до нас достают. Не выдержал я: «Да что это там за вояки, с одним танком справиться не могут! Есть гранатомёт?» — «Есть» — «Давай суды трубу эту и три гранаты».

Я сажусь в «бусика» — везите ближе к передовой, показывайте, где танк.

Смеются ополченцы. Не верят, что я бывший вэдвэшник, что с 72 года прошлого века три вооружённых конфликта сломал. А они: «Ха-ха-ха... Дед, у тебя уже ноги заплетаются... валил ба ты домой...» Командир у нас был майор, из бывших милицейских, минное дело знал хорошо, послушал-послушал мои байки и строго так: «Везите деда к нейтралке». И мне: «Три бойца поедут с тобой для прикрытия» Поехали. Указывают мне, откуда танк бьёт. За километр до передовой в лесочке останавливаю машину, братву — в засаду, а сам ползком с трубой, автоматом и ящиком с тремя гранатами ползу к нейтральной полосе — где меж кустов, где ложбинкой. А танк бахает по нашим позициям, за спиной у меня рвутся снаряды. Проползу метров двадцать — отдыхаю, маскируюсь, присматриваюсь к местности. Знаю, спешки тут не должно быть. С километр, может, я проползил на животе. Гляжу, вот он, ридный харьковчанин, — наш, советских времён Т-64. Из-за бугра высунется — бах-бах — и назад в укрытие, то ли там яма какая была, то ли капонир. Знаю, в лоб его гранатомётом с ходу не взять, но мне-то известны его слабые места. Подползаю ближе, ближе... Прикидываю: триста метров до цели, чтоб наверняка попасть. Позицию выбрал, надо брюшко его повидать, когда он на бугорок выкатится. Улёгся, трубу на плечо. Позади меня песок, гореть нечему. На прицел взял бугор. Жду. Вот ружьё показывается. Урчит танк недовольно, выползает осторожно, брюшко мне приподнял. «Прости, дорогой, ты же был наш, советский, а теперь враг». Тут я и надавил на курок. Граната пыхнула под дых танку, а моя рука уже на-

щупывала второй снаряд. Но не успел я его ухватить, оглушительный взрыв потряс воздух, башня вместе с дулом кувыркнулась с бугра в огненном всплеске; видно, сработал мой кумулятивный снаряд по боекомплекту. А я всё лежу в засаде, приговариваю: «Это вам за сестру, за моих родичей, сватов, за детей, за братьев, невинно погибших». Так я экипаж накрыл вместе с танком. А экипаж Т-64 — четыре человека. Больно, жалко, но они же сами захотели с нами воевать... А мы рабами не будем у Америки... Встал я и пошёл кустиками-кустикими, меж сосёнок к своим. И только вышел я к «бусику» из нейтральной полосы, начали вэсэушники бить из миномётов, где я только что был. А наши подхватили меня и моё снаряжение — скорей в свои окопы, по ним теперь не стреляют; киевские служаки решили, что мы у них под носом, раз танк подбили в ближнем бою; наверно, целый час из всех стволов перепыхивали нейтральную полосу.

Вернулись мы на свои позиции второй линии обороны. А мне говорят: «Ну, дед, ты даёшь...» А командир нашего ополчения руку мне пожал и говорит: «Обстановка сложная. Нас всё равно окружают ВСУ. Бригада отступает — прикроешь?» — «Да об чём разговор?»

Сидим в окопах. Нас человек тридцать остаётся, нас уже отрезали от станицы. С 18 на 19, как сейчас помню, холодина страшная ночью. Морось какая-то, колотун бьёт. Под утро молось Преображению господнему. А тут прибегает мой дружок Андрюха: станицу заняли нацики, и мы отрезаны. Нас предали, нас бросили... «Не ныть! Занимаем оборону!» — командую. А по нас уже минами бьют, а отстреливаться уж нечем — вон уж пехота америкосов на нас пошла. Всё, думаю... но в плен сдаваться не буду. Ещё чего не хватало, чтоб надо мной, стариком, бандеровцы издевались... В руку эфку зажал, присел в окопе, палец держу на кольце... С Андрюхой попрощались... А тут слышу за спиной — гул моторов. Оглянулся — наши прорва-

лись в помощь на бэтэрах. Ура! Живём! Кидаем с Андриюхой последние свои гранаты в сторону нациков. Нате вам! За наш Присуд!

Бегут западэнцы. Один наш бэтээр остановился напротив нас. Люк на башне открылся, вижу молоденького бойца в шлемофоне: «Раненные есть?» Оружие, хоть и без патронов, не бросаю, влезли на броню — и нас в тыл, на переформирование. А после построения, переклички, кто стоял на передовой, командир объявил всем благодарность от народа Луганской Народной Республики, а нам, старикам, ещё и дембель объявил.

Нас было несколько таких, как и я, добровольцев. Переправились через Северский Донец по понтонному мосту. Оружие сдали. А я сумку с казачьей справой не бросаю, в ней — две банки с перловой кашей. Зашли мы в какое-то придорожное кафе под Каменском, что возле города Шахты. Давай посидим по-человечески. Копейки домашние у нас ещё остались на чай. А мы зачуханные, помятые, в пыли и гари. Прохожие так и пулили глаза в нашу сторону.

Мы помолились и сели за стол.

Вот те подходит к нам какой-то человек, навроде как хозяин этой забегаловки.

— Вы оттуда, братцы?

— Оттуда...

— А что же так бедно с обедом? На дороге хотя бы заработали?

— Да не, мы не за это воевали. Мы за сестёр и братьев наших, за Родину!

Ушёл от нас этот человек в подсобку. Вот те несут нам официантки на разносах всякие печенья-варенья. Весь стол заставили — ешьте, братушки, сколько хотите. Я за голову схватился: да мы не расплатимся!

А официантки улыбаются:

— Хозяин распорядился дать вам благотворительный обед.

Завеселели мы. Хотели поблагодарить хозяина, а он куда-то уехал. На железнодорожной станции с боевыми товарищами попрощались за руку, обменялись номерами телефонов: если молодёжь с нациками справляться не будет, — созваниваемся. ...А к сеструхе я теперь каждый год езжу в день её рождения. Вот только бы границу ещё открыли, чтоб жить нам заодно и ездить на Лугань, как раньше было, без всяких препятствий. Вот только сожалею, что забыл я тогда в кафе спросить имя-отчество того человека, что нам за так накрыл стол. Начисто вылетело из головы: как это кафе называется, какая улица... Но всё равно найду и отблагодарю. За добро надо платить добром. А тогда я из-за всего пережитого будто не в своей тарелке был; прочувствовал, на себе испытал, что такое терять родных, что такое умереть, но выжить и не оскотиниться. — Дед посмотрел на свои руки, движения его ладоней были похожи, как если бы он их мыл под краном с мылом. — Так что бывал я там. Восемь лет прошло, а не забыть, как умирали у меня на руках Pollyшка, Елизавета Ивановна, Лёшка, Володя... Тяжело вспоминать. А как, думаешь, пережитки переносят те, кто восемь лет уже на войне, под обстрелами?

Он наклонился, прострельно прищурил глаз, стараясь поймать взгляд Караваяева, иссушенную возрастом ладонь свою бухнул ему на колено.

— Ты знаешь, столько лет прошло... а из души не выкинуть... Экипаж танка Т-64 — четыре человека... выходит, четыре на четыре... — поник взглядом, помолчал и кивнул головой на запад: — А ребята наши девятый год воюют, может, и я бы пригодился... Если чё ... Мне собраться, что голому подпоясаться... Я-то ещё на ногах! На железнодорожной станции сторожую, всё ещё служу. У меня того, глаз не промах... болезнь не излечимая...

Пётр шагнул к деду, ткнулся носом в его бороду, обнимая:

— Крепись, старина... Завтра едем туда... С гуманитаркой.
На Луганск дорогу открыли – и наши дальше пошли...

— С Богом, — перекрестился дед и тоже расправил плечи.

Вечерело. Взбурилось под ветром озеро, волна за волной плескались на берег. Дед провожал Каравая, опираясь на трость, похожую на букву z с длинной ножкой, с увязшей пяточкой в песке.

...Уже сидя в машине с работающим двигателем, Пётр приоткрыл дверцу, оглянулся к столику: в сумерках выделялась фигура деда Бутка, сравнимая с древней меловой горой прихопёрского правобережья на фоне клубящейся с запада рыжеватой хмари; лысая гора к концу лета с белесой ковылкой справа и слева и меловым оползнем бороды к самой реке – отовсюду была видна сияющим серебряным шлемом без забрала.

Припаду грудью к земле, обниму, – плачет русская земля...

2023

Содержание

Мотя	3
Непутёвые	8
Шпион	21
Министры	37
Уляша	46
Трактор.	53
Киса	65
Что-то болит...	74
Деньги нужны	77
Святой Мирон	90
Пчеловоды	97
Кубанская байка	103
Моторины	105
Дед Буток.	114

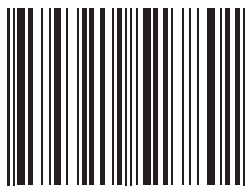
Литературно-художественное издание

Рычнев Григорий Федорович

ДОНСКИЕ ПОГУДКИ

Рассказы

Издаётся в авторской редакции



9 785919 517801

Сдано в набор 20.09.2023 г. Подписано к печати 27.09.2023 г.

Формат 60x84/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8. Тираж 200 экз.

Заказ № 505.

Отпечатано в типографии ООО «Альтаир»:

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 55.

Тел. 8 958- 544-59-27, 8 (863) 219-84-25.

E-mail: oooaltair_office@mail.ru.